

Передовые из «Вече»

НА ВЕЧЕ!

Двадцатый век — век прогресса науки и техники, и в то же время — век небывалого развития корыстолюбия и преступности. В погоне за личным материальным благополучием люди стали равнодушны к духовным сокровищам прошлых столетий. Это наблюдается в равной степени и у нас, и на Западе. Но нас, естественно, прежде всего заботит Россия — наша мать, боль и надежда.

Наше нравственное состояние оставляет желать много лучшего. Эпидемия пьянства. Распад семьи. Поразительный рост хамства и пошлости. Потеря элементарных представлений о красоте. Разгул матерщины — символа братства и равенства во хлеву. Зависть и доносительство. Наплевательское отношение к работе. Воровство. Культ взятки. Двуручничество как метод социального поведения. Неужели это все мы? Неужели это — великая нация, давшая безмерное обилие святых, подвижников и героев?

Да имеем ли мы право называться русскими? словно зараженные бешенством, мы отреклись от своих прадедов, своей великой культуры, героической истории и славного имени. Мы отреклись от национальности. А когда мы пытаемся теперешнюю пустоту и убожество назвать тысячелетним словом, мы только оскорбляем святое имя.

„Вече” № 1, январь 1971 г.

И все же еще есть русские. Еще не поздно повернуться лицом к Родине. Обратиться к материнской земле, к наследию праотцев. Нравственное всегда национально. Аморализм не имеет нации. Возродить и сберечь национальную культуру, моральный и умственный капитал предков. Продолжить путеводную линию славянофилов и Достоевского.

Предстоит большая и тяжкая работа. Мы изолированы друг от друга. Мы выварили мысли в своем соку, не обмениваясь, не споря. Вынесем их теперь на русское вече. Пусть мнения противоречат, пусть один опровергает другого. Все наши споры должны иметь одну цель — благо России. С этой целью мы приступаем после длительного молчания к изданию русского патриотического журнала. Мы приглашаем всех патриотов-россиян к участию в нашем журнале. Да благословит нас чистый, немеркнущий лик России.

На вече!

Редакция

Январь 1971 г.

СКОЛЬКО НАМ ОСТАЛОСЬ ЖИТЬ

Лавиной слово об ужасах третьей мировой войны стерло представление о более грозной опасности, подстерегающей человечество. Да! Как бы ни были мучительны и эффектны последствия ядерного поединка, всех нас ожидает еще более страшная перспектива — смерть из-за нехватки кислорода и зелени. Это не красивые слова. Это предостережение, хотя, быть может, и напрасное. Напрасное! — потому что ни одно правительство в мире не пойдет на сокращение промышленности с ее губительными последствиями. Ни один „просвещенный” и „цивилизованный” народ не согласится остановить безудержную гонку технического прогресса. Этот прогресс — сущее дитя дьявола — уже вырыл человечеству яму. Осталось свалиться в нее и прекратить историю. Трубы наших заводов и фабрик не просто закоптили небо, они уже добавили в атмосферу 10% углекислого газа. Чистых рек почти не осталось. Скоро вся пресная вода на земле пропитается мерзостью промышленных стоков. О лесах средневековья придется только грезить, последние кустарники уступают место абсурду индустрии. Самая развитая страна в мире — США — дышит за счет „отсталых” стран: ее растительность не в силах снабдить страну достаточ-

ным количеством кислорода. Если бы все государства достигли уровня, которому все так завидуют, то наша планета уже была бы летающим гробом в молчаливой галактике. Мы мечтаем о полете на Марс, загорая на вершине вулкана.

Но начнем по порядку. Хотя, собственно, какой порядок в бестолочи прогресса! Промышленность существует ради двух вещей — ради войны и плоти. По данным советской энциклопедии о США (советских данных об СССР нет), в 1952 году военная продукция, например, в самолетостроении и танкостроении составила 70%, а вообще на военные цели шло 1/4 всего производства стали, 2/3 алюминия и 1/3 меди. С тех пор минуло 20 лет ожесточенной конкуренции в производстве бомб, ракет, пушек, газов, самолетов, подводных лодок, танков, средств химии и т.д. и т.п.

Данные о военной промышленности держатся в строгом секрете, вряд ли они известны более чем дюжине человек. Однако жизненный опыт что-то дает. Дает уверенность, что не менее четверти всех рабочих трудится на военных заводах. Четверть всей индустрии существует ради войны.

Оставшиеся три четверти современной промышленности „служат” человеческой плоти. Могут возразить, что не одна плоть, но и дух человека неизбежно требует заводов и фабрик. Индустрия кино! Индустрия читива! Один воскресный номер газеты „Нью-Йорк таймс” поглощает 77 гектаров леса. У нас, при отсутствии гласности, подобная статистика засекречена, но можно не сомневаться, что уж в чем-чем, но по уничтожению лесов мы отстаем не на много. Ежегодный переруб леса, по сравнению с приростом, по мнению В. Солоухина, у нас достигает 30%.

Конечно, людям нужен и хороший фильм, и Кнут Гамсун, и научная публикация. Однако подлинная культура в индустрии духа составляет жалкий процент. Порнография (чтобы плодить импотентов!) и детективы, с одной стороны. Безмозглая, бездарная пропаганда (чтоб отучить мыслить), с другой. Ради этого рубят лес и коптят небо.

Автомобиль! Корбюзье считает, что новые города следует строить с учетом многочисленных стоянок и гаражей. А не лучше ли свернуть всю автомобильную промышленность до минимума, оставив необходимые грузовики, такси и скорую помощь? В Париже загрязнение воздуха на 47% происходит за счет отработанных газов автомобилей. Легковая машина — это выдуманная потребность. Но не слишком ли дорого обходится такая забава? В войнах восемнадцатого века гибло меньше, чем сейчас при авариях на шоссе. Автомобили США извергают в воздух такую массу загрязняющих веществ, что она весит столько же, сколько ряд автомобилей, выстроившихся от Нью-Йорка до Чикаго. Промышленность губит все — воздух, воду, растительность, животный мир. Губит саму плоть. Ни один список профессиональных болезней не назовешь полным. Даже мы понастроили столько предприятий, что от них умирает Волга, стонет Байкал и задыхаются легкие. Воздух городов и поселков отравлен ядами, в частности свинцом. Мы силимся лечить рак и выбрасываем в атмосферу продукты с канцерогенными свойствами. А применение атома в мирных целях — разве не способ заразить планету? Растут радиоактивные отходы, льется вода, использованная на атомных электростанциях и заводах... Нейлоновые рубашки, нейлоновые чулки. Мало того, что не дышит

кожа. Ради нейлоновых чулок мы травим и природу, и свой организм ядом химии. Что бы сказал в наш век Эразм Роттердамский?

Ученые утверждают, что мировой океан погибнет в 1979 году. От нефтяной пленки, пестицидов (ДДТ), нечистот рек с пяти континентов исчезнет жизнь вообще. Океан станет мертвым. Суша, по-видимому, продержится дольше. Генеральный секретарь ООН У Тан предупреждает, что к 2000 году содержание углекислого газа в атмосфере достигнет 25%. При такой норме CO_2 в воздухе мы сможем дышать?

Сколько нам осталось жить и можно ли еще предотвратить гибель — вот вопрос.

Журнал „Вече” публикует в этом номере обширный материал, посвященный вредоносному действию промышленности на окружающую среду. Мы призываем русских патриотов глубоко задуматься над близящимся кошмаром. Шестую часть умирающей планеты составляет наша Родина. Мрак индустрии — над просторами Сергия Радонежского.

Мы спрашиваем: есть еще время спасти Россию?

РУССКОЕ РЕШЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ВОПРОСА

(К 50-летию СССР)

Что бы ни говорили о роли инородцев в русской революции, о торжестве нерусской стихии в Октябре и в особенности в Феврале, можно твердо верить в одно: новая федерация народов создана была по-русски. История знает разные способы решения национального вопроса. Есть путь Америки: уничтожение национальных различий, ассимиляция представителей разных этнических групп в огромном котле стандартизованного образа жизни. Каков же результат этой смеси? Новая нация? Нет, всего лишь

„массы людей, не имеющих между собой ничего общего, кроме бешеной жажды наживы и врожденного страха, оттого что у них нет никакого национального характера, как бы они ни старались скрыть это друг от друга за громкими изъявлениями преданности американскому флагу” (У.Фолкнер).

Есть путь Китая: уничтожение всякого иного начала вообще.

„Китаизация местного населения осуществляется также путем принудительных браков между представителями местного населения и китайцами (переселенцами и солдатами). Эта практика получила широкое распространение в Синьцзяне, Внутренней Монголии, Тибете и

„Вече” № 6, 19 октября 1972 г.

других национальных районах”⁺ „Усиленная китаизация национальных районов привела к тому, что удельный вес китайцев среди населения Синьцзяня, например, возрос с 3% (1949 г.) почти до 45% (1966 г.). В Тибете, где прежде китайцев почти не было, сейчас они составляют примерно половину всего населения”⁺⁺.

Страна стране рознь. В нашей истории были завоевания, но не было никогда ни геноцида, ни стремления стереть национальную самобытность. Русские идеологи, занимавшиеся национальным вопросом, спорили лишь о том, как лучше обеспечить равноправие представителям разных наций в рамках одного государства. Одну точку зрения выражал М.Н. Катков:

„Не естественно ли русскому желать, чтобы в пределах русского государства не было ни эста, ни лива, ни шведа, ни немца, и чтобы немец в России, не разучившись своему языку и не изменив своей веры, тем не менее звал себя прежде всего русским и дорожил этим званием?”.

Противоположную позицию занимал К.Н. Леонтьев:

„Русификация окраин есть не что иное, как демократическая европеизация их. Для нашего, слава Богу, еще пестрого государства полезны своеобразные окраины, полезно упрямое иноверчество, хорошо, что нынешней русификации дается отпор”.

В.Соловьев называл русификацию „убийством души нации”.

„История русского народа, от начала до наших дней, знает только о безыскусственном и добровольном обрус-

⁺Т Р. Р а х и м о в. Антимарксистская сущность взглядов и политики Мао Цзэ-дуна. М., Политиздат, 1969, с. 188.

⁺⁺Там же, с. 187.

нии инородцев... привлекательно действовала на чужих людей лишь мягкость и подвижность нашего народного характера, многогранность русского ума, восприимчивость и терпимость русского чувства, т.е. именно все то, чего мы должны отрекаться при всякой попытке п р и н у д и т е л ь н о го обрусения.

... Беда в том, что подобные опыты, ничуть не достигая своей невозможной цели, лишь понапрасну растрavляют национальный антагонизм и решительно мешают незаметному, но действительному сближению с Россией чужих элементов. Так, можно быть уверенным, что поляки во времена Мицкевича более интересовались русской литературой, нежели теперь, когда они п р и н у д и т е л ь н о знают по-русски".[†]

Н.Бердяев в книге „Опыты по психологии русского народа” писал о несовместимости идей русификации с характером русского народа:

„В русской стихии поистине есть какое-то национальное бескорыстие, жертвенность, неведомая западным народам”.

Великий русский мыслитель А.С.Хомяков так выразил суть русского подхода к национальному вопросу:

„Мы будем, как всегда и были, демократами между прочих семей Европы; мы будем представителями чисто человеческого начала, благословляя всякое племя на жизнь вольную и развитие самобытное”.

В котле революции погибли многие русские традиции, но, к счастью, сохранилась одна довольно существенная: традиция уважения к другим народам, та в с е м и р н о с т ь русского человека, на которую указывал и Достоевский, всемирность как сочувствие и любовь к чужим. Это качество и проявилось в создании СССР как братского союза равно-

[†] В. С о л о в ь е в . Собрание сочинений, т. 5, с. 77.

правных народов. Мы имеем в виду ту истинно русскую форму, в которой произошло провозглашение федерации.

Новое государство не стало вторым изданием Америки, не пошло на поводу у нигилистов и энтузиастов, мечтавших о мире „без России и Латвий”. Союз равноправных республик, сохраняющих свою национальную самобытность, самой структурой своей показывает, чем отличается интернационализм от космополитизма.

Отмечая 50-летие провозглашения СССР, мы должны сказать о разумности государственной политики, в результате которой была сохранена великая держава.

Отсоединение Финляндии и в особенности Польши было естественным и безболезненным отпадением того, что не сжилось с Россией и не было для нее жизненно необходимым.

У Советского Союза, как у целостной системы, два внутренних врага — узкий национализм и космополитизм.

Наиболее опасен из них второй, и вот по каким причинам:

1. Космополитизм искусно рядится в одежды интернационализма, часто обманывая некоторых близоруких ответственных товарищей и проникая на страницы официальных изданий.

2. Космополитизм занимается систематической дискредитацией патриотических взглядов, обвиняя тех, кто их высказывает, в национализме и, используя против них рычаги официальных репрессий, стремится избавиться от своих наиболее последовательных противников.

3. Именно космополитизм вызывает недовольство на окраинах своей культурной политикой, вос-

принимаемой на этих окраинах как „русификация”, тогда как на самом деле она направлена против русского народа в такой же мере, как и против остальных народов нашей страны. Всякое действие вызывает равное противодействие, таков закон природы. Насколько обрусели, положим, татары, настолько же мы отатаримся. Чего стоят, например, явления таких деятелей культуры, как Чингиз Айтматов, „великий современный киргизский” писатель, который пишет только на русском языке?

Как известно, все наши так называемые „национальные окраины” приемлют новый социальный строй, приемлют советскую власть, считают ее своей, народной. Но ни одна „национальная окраина” абсолютно не приемлет русификации, и тем резче, чем выше с ростом лет становится цивилизованность народа. Каждый русификатор, какими бы благими намерениями он ни руководствовался, на деле оказывается разрушителем великой общности народов, населяющих Россию. Именно русификаторские настроения порождают настроения обвинения в русском великодержавном шовинизме.

Полезно и своевременно напомнить о борьбе В.И.Ленина против рьяных русификаторов и его меткие замечания о той среде, из которой они выходят. „Известно, — писал Владимир Ильич 20 декабря 1922 года, — что обрусевшие инородцы всегда перекалывают по части истинно русского настроения” (т. 45, стр. 358). Ленин подверг резкой критике за „великоруссконационалистическую кампанию” Сталина, Дзержинского и Орджоникидзе.

Так уместно ли говорить о русском великодержавном шовинизме? Полноте, русский ли он? Кто был его носителем? Насквозь пропитанный нем-

цами бюрократический аппарат послепетровской монархии? Джугашвили и Дзержинский? Не правильней ли называть его просто великодержавным? Или еще лучше — безликодержавным? Пусть же остальные горячие головы из украинцев, прибалтов, грузин и казахов, в слепоте своей понапрасну гневающиеся на Россию, получше присмотрятся к своим обидчикам — Россия ли их породила? Русским действительно присуще национальное бескорыстие. Разве актив оппозиционных партий, за которыми пошел русский народ в революционные годы, не состоял, как правило, из евреев? Разве мы не доверяли и не доверяем ответственным посты инородцам? Вспомним, хотя бы, Иосифа Джугашвили на посту руководителя государства. Вспомним советскую делегацию в Лиге Наций, в составе которой не было ни одного русского.

Современная русификация, к сожалению, имеющая место, порождена, с одной стороны, бездумной политикой, происходящей под лозунгом создания „советской нации”, с другой стороны, стихийная русификация порождается бурным развитием промышленности в национальных окраинах, что вызывает массовый приток туда русской рабочей силы и профессиональных кадров. Существует и третья причина русификации — стремление инородцев к обрусению (овладение языком и культурой), что упрощает их карьеру, научную и административную.

При этом русификация неизбежно ведется на самом низком уровне культуры (Данилевский: „цивилизацию нельзя передать”). Русификаторы предлагают национальным меньшинствам не великую русскую культуру, а ее суррогат, бесцветный слепок. И недаром именно из среды русификаторов выходят

призывы „покончить с русофильством”. Истинная Русь им не нужна. Одни и те же люди, таким образом, одной рукой русифицируют национальные окраины, другой рукой борются с „русофилами”. Имеет место бессмысленная ситуация — инородцев призывают любить Россию, которая не любит себя, не смеет себя любить. Дескать, уважайте Россию, которая не должна уважать себя.

В последнее время много говорят о новой исторической общности людей — советском народе. Однако очень важную оговорку сделал на страницах „Правды” (№ 77 от 17 марта 1972 г.) проф. С.Калтахян:

„Советский народ” не является „национальной общностью”, речь вовсе не идет о „превращении его в какую-то новую нацию”.

При такой трактовке, относительно которой у нас нет возражений, не может быть, в частности, никакого противоречия между русским и советским патриотизмом. Но об этом несуществующем противоречии истошно кричат и всеми силами стараются его спровоцировать люди, не причастные ни с какого боку ни к какому патриотизму.

Решительно выступая против русификации, выступая за полнокровное развитие всех национально-культурных отличий каждого народа, населяющего нашу страну, мы оставляем за собой право гордиться нашей русской родиной. Мы не забываем и гордимся тем, что существующую ныне многонациональную великую державу сплотила и сплачивает великая Русь.

Подобно С.Есенину, мы оставляем за собой право воспевать свою Родину и тогда, когда „на всей планете пройдет вражда племен”.

К ОТКРЫТИЮ ПАМЯТНИКА МИХАИЛУ ИЛЛАРИОНОВИЧУ КУТУЗОВУ В МОСКВЕ

В истории каждого народа есть имена, настолько глубоко и соответственно вошедшие в национальное сознание, настолько прочно и глубоко вкорененные в языке, что одно произнесение их, этих имен, отзывается в душе истинного патриота чувством личной заинтересованности во всем, что произошло, происходит или имеет произойти в Отечестве.

Правда, иногда, в силу ряда причин, сияние этих имен как бы тускнеет, уходит на задний план, оттесненное нахрапистой массивностью злобы дня, наивно полагающей закрепить свою преходящность словом, мрамором, гранитом. Метрополитен им. Кагановича, театр им. Мейерхольда, автомобильный завод им. Молотова — вот примеры из мартиролога ее неуклюжих притязаний на незыблемость своего торжества.

Довлест дневи злоба его. И в борьбе с этой злобой, с ее устойчивой преходящостью обретают свой таинственный смысл и подлинное значение исторические памятники. Недаром памятник Петру — Медный всадник — не на одно столетие стал

„Вече” № 8, 19 июля 1973 г.

символом и эмблемой России. Даже в его обиходной безымянности есть указующий перст.

Отсюда и следует, что воздвижение каждого памятника есть дело всей нации, всего народа, оно есть дело историческое. Ибо нет ничего поучительнее и печальнее, чем кладбище свергнутых памятников, как и нет сиротства полней и законченней, чем пустующий пьедестал.

Все это снова пришло на ум, когда сообщили об открытии памятника Кутузову. Сначала пронзило горечью: спасителю России до сих пор не было памятника в Москве. А потом подумалось: Томский, как-то он, набивший руку на кумирах иного сорта, справился с такой благородной задачей? Отчетливо возник призрак его Гоголя на Арбатской площади... Тем более, что конные памятники в Москве не появлялись с 1947 года.

Но вот справа от здания Бородинской панорамы, если стать к нему лицом, на просторной площади — высокий постамент светлого гранита с конной статуей великого полководца. Да, это он, Кутузов. Это его ленивая посадка в седле, его, огрузшего в отставке генерала от инфантерии. Неспешное достоинство жеста чувствуется в руке, сжимающей зрительную трубу. И весь его облик дышит внутренней собранностью и благородством. И его лицо, несущее в себе черты портретного сходства. Нет ни у одного полководца, наверное, такого лица, отметающего все понятия об облике полководца, но, взглянув на которое, навсегда уверишься в том, что только таким оно и должно быть.

Нет, не подкачал Томский. Это — наш Кутузов.
Маститый страж страны державной,
Смиритель всех ее врагов,

Сей остальной из стаи славной
Екатерининских орлов.

Это — наши герои, его соратники, окружающие его пьедестал. От Багратиона до Матвеева, от командующего армией до барабанщика. Спасители России.

Написав стихотворение, посвященное памяти М.И.Кутузова, и посылая его дочери полководца, Е.М.Хитрово, Пушкин сообщал, что оно написано „в такое время, когда можно было утратить бодрость”.

Что ж, обращение к священной памяти предков уже есть признак национального возрождения.

Не утратим же и мы бодрости и созидательного терпения в эти дни, преемствуя прекрасные качества у наших великих предшественников.

Статьи и очерки

ТРИ ОТНОШЕНИЯ К РОДИНЕ

Первое отношение к родине — это ненависть. Родину ненавидят за ее нелегкую историческую судьбу, за первенство государственного интереса над личным, за тысячелетие веры в своих правителей и в свою Церковь. Ненавидят народ за его равнодушные к ярмарочной свободе. С восторгом вспоминают желчь народного благодетеля: „Жалкая нация Снизу доверху — все рабы”. Рабы! — потому что не приняли сновидения, дольки. Рабы! — потому что хотели жить по-своему. А когда сбылись сны, сложили белые головы. Но нынешнему нигилисту плевать на это: „Во всем виноват сам народ. Другой не допустил. А этот — пожалуйста”. Если уж говорить о вине, то виновен не народ, а его интеллектуальная верхушка, изменившая отечественным традициям в погоне за иноземным разумом. Импорт ума! Какое лакейство, какое отвратительное обезьянничанье перед обладателями „последней истины”! Накоплен Монблан мусора, по меткому замечанию философа, и вот в нем, а не в своем отечестве выискивают они спасительные рецепты. Дерево растет корнями в земле. Так ведь по науке надо наоборот. И вот миллионы деревьев вырывают из земли и ставят корнями в небо. Жизнь неразумна. Разумны брошюры. Наобо-

„Вестник РСХД” № 103, 1972 г.

рот! — лозунг опьяневшего нигилиста. Он меняет окраску: вчера — красный, сегодня — голубой. Но и вчера, и сегодня он верен в одном — в ненависти к отечеству. С каким наслаждением он бы распродал на аукционе земли своей родины! У него найдутся причины. Где нет исторических оправданий, он найдет юридические, где молчит право, он вспомнит пятнадцатый век. Где нет вообще предлогов, он придумает свежие. Лишь бы рассечь на десятки кусков, чтоб от родины осталось одно междуречье да пыль в музеях. А народ — о, народу он придумает, как надо жить. Ты угнетатель, ты держиморда, потеснись и сожмись, а лучше умолкни. Распинается о правах, о голубой свободе, а собственного соплеменника гонит со своих земель. Где уж там понимать душу нации! Терпенье он назовет холопством. Пассивность — извечной склонностью к деспотии. Когда ему укажешь, что историческая-то деспотия — больше ярлык, чем сущность, он тут же вспомнит про палки ненавистного ему правителя. Правителя-то он ненавидит за патриотизм, а вот что палки-то привез из-за моря другой, прискорбный правитель, этого он не вспомнит. Потому что того он любит. Тому он и палки простит, и головы — за иноземный импорт. Впрочем, современный нигилист себя таким не считает. Ведь он хлопочет об утверждении новых истин. Он провозглашает равенство мошенников и святых, вторичность души, относительность добра и зла. А поскольку, к несчастью, свершился прогресс, идеи нигилистов стали идеями века. Они замутили дух наций, опошлили благородство и честь, подточили веру и обесценили жизнь. В обмен они принесли свободу. В современном Вавилоне существует свобода Богу и свобода Дьяволу. Там разреше-

но творить красоту и делать мерзость. А так как одной категории людей неизмеримо больше, чем другой, то нетрудно понять, кто царит в Вавилоне. Нетрудно понять, что пробиваются вверх не самые честные, а самые ловкие. Надо суметь угодить переменчивой толпе, чтобы эта толпа позволила тебе делать историю. Потому и делают ее актеры, а не борцы. Нет отечества. Есть Карфаген, с его нищетой и произволом, и Вавилон. Выбирайте, кому что нравится, — третьего не надо! А ведь, пожалуй, подобная альтернатива кому-то должна быть дьявольски удобна. Вот он, хихикающий Мефистофель, держит в руках по нитке к куклам-соперницам. Гляньте, да они дерутся, ай-ай, вон та вытаскивает нож, публика в ужасе, однако проходит акт, другой, пыл сникает, и куклы расходятся, сдвинув брови. Но публика напряжена: ждет роковой развязки... Где уж тут помнить о родине. Поток клеветы залито все: деяния дедов, душа и самый смысл отчизны. Попробуй оправдайся, когда в тебя швыряют кирпичами томов, рулонами газет, антеннами радиостанций. Ты анахронизм и предрассудок, ты попросту отстал от века. Да ты ведь, пожалуй, не только в родину, но и в добро веришь? И в абсолютность морали? О, как ты отстал от прогресса. Бедный арьергардист. Аборигену из жарких стран еще позволительно говорить о родине: это трудности роста, переходный этап. Да к тому же и родина у них понятие современное, с прогрессивным душком. Что ж, надо „поздравить” нигилистов мира с большим успехом. Праздник на их улице. Ликуйте, враги отечества!

Второе отношение к родине — это спекуляция. На родине спекулирует стар и млад, ее „любит” крова-

вый тиран и доктор фальсификации, начинающий карьерист и беспутный болван. Ловкая подмена понятий. Главное — подползти к сердцу. Формацию не всунешь в народную душу, а для родины у каждого есть сокровенное место. Стручок перца замазать отечественным тестом, лишь бы проглотили. И глотают, и появляется нечто странное, нелепое до кошмара. Появляется модерн-патриот. Атеист, считающий религию уделом темных старух. Апологет насилия. Жаждет удушения всех и вся, кто ему не понятен. Иноземную плесневелую пищу почему-то считает отечественной и от имени отечества всучивает соседям. Когда те недовольны, бьет кулаком и взывает к родине. Поносит Вавилон, но боится его силы и духа. Лебезит перед иностранцами, если это позволено. Невежда. Из трех тысячелетий мудрости вывел лишь одно: что он умнее всех и что нет Бога. Учит, как надо жить, но учит по шпаргалкам иноземных двоечников. Мораль — это то, что выгодно. И еще он не любит лавочников, но не потому, что их идеи враждебны отечеству, а просто потому, что они более ловкие. Затирают тупицу. Нигилист для него — отрада. На нем он сорвет свою ненависть к разности. На нем проявит свой нормированный патриотизм. Его представит, как срывающуюся лавину, чтоб не покидали пещеру. Но когда он сталкивается с патриотом натуральным, он приходит в холодную ярость. Потому что всегда помнит, что главная его задача — не борьба с нигилистами или с кем бы то ни было, а борьба с отечеством. И лучшее средство для этого — новейший, „особенный” патриотизм. Цинизм невероятный: перелицевать имена, города, архипелаги и самую родину и после этого трубить о патриотизме! Нигилистам в свою очередь подобные „патриоты” —

в самый цвет. Все насильники, все душегубы. Какая разница, три полоски или одна... Весь этот модерн-патриотизм возник мгновенно, по мановению дирижерской палочки. До мановения была откровенность полная: ненавидели отечество открыто и не стыдясь. После мановения отечественным нигилистам потребовалось тут же стать патриотами — и они стали. Так что модерн-патриотизм просто отпочковался от нигилизма. Троянский конь неуловимого врага. Подсадная утка нигилистов-оборотней. Вчера — нигилисты, сегодня — патриоты, а завтра — кто? Как прикажут? Или полюбили теперь? Пейзаж, географическое пространство? Конечно, территория и природа — тоже родина. Но главное — это совокупность духовных и нравственных ценностей, накопленных нацией на ее земле. Эти ценности нью-патриот не только не уважает, а обливает помоями клеветы. Еще гаже, когда он пытается приспособить их к своим надобностям. Поскольку эта крикливая публика — сплошная бесталанность и серость, она стремится заарканить великанов прошлого. Благо из могил не протестуют. Историю великого народа превращают в колоду крапленых карт. Капитал духа отвергнут, но выщежена желчь отщепенцев. У каждой нации были свои уроды. Для модернистов родина — это собрание уродов. Все же в трескотне модернистов отрадна полная неспособность умело и красиво лгать. Все, к чему они прикасаются, становится карикатурой. Собственные заклинания повторяют так часто, что отбивают всякое желание любить и верить. Каждого заведомо считают идиотом, которому нужны тысячи напоминаний. Нельзя ступить шагу без наставительных прописей. Все это отрадно, когда касается их карточного хозяйства.

Но горько — когда к этой мерзкой клоунаде, как духовный соблазн, приклеивают несбыточное имя. Нынешние нигилисты говорят: „Чего вы цепляетесь к отечеству? Хотите заодно с ними? Не видите грязных лап?” А ведь хватаются не за одну родину. И за права — тоже. И за всяческую эволюцию. Что ж вы не отрекаетесь от прав и прогресса? Разве скорпионы не вцепились в прогресс? Кающиеся нигилисты... В бреднях раскаялись, от огня отошли, стали поперец горла горлопанам, но нигилистами все-таки остались. Враги на словах, друзья на деле? Этим или тем? Но что же такое нация? Вера, кровь, язык и земля. Религия и даже особенная совокупность обрядов составляют часть, причем наиболее существенную, духа нации. Отдельная личность как личность может обойтись без религии. Отдельная нация как нация без религии жить не может. Там, где кончается вера, кончается нация. Никакая научная гипотеза не способна заполнить духовный вакуум национального организма. Вера в существование элементарных частиц не объединит племя. Народ распадается буквально на глазах, когда распадается вера в Бога. Правда, сохраняется другая сильная основа нации — кровь. Но удивительное своеобразие биологического („крови”) невозможно объяснить, не обращаясь к мистике. В национальном живом организме всегда присутствует какая-то тайна, нечто неподдающееся научному эксперименту. Один народ мелочен и экономен, другой расточителен и беспечен, третий любит свой дом и право, четвертый не имеет знака, чтоб обозначить свободу, пятый скитается и хитрит... И живут подчас рядом, бок о бок, и ветры те же, и пресловутая экономика, а вот разница в глаза бьет. Неуловимое семя, неизменное, как

симметрия скул. Вера и кровь. Душа и тело. Вера как кровь души. Телу — пространство для бытия. Душе — язык. Нью-патриот не знает ни веры, ни крови. Его понимание нации дальше экономики и языка не выходит. Оставим ему экономику, которую он любит так страстно, что задушил в объятиях. Но даже язык он исказил до такой степени, что его культурный прадед с трудом разберет галиматью слововведений и уж совсем не поймет потомка, низведшего великий язык до матерщины рабов. Итак, спекулянт уже потому не может быть патриотом, что он — враг веры. Веры вообще и ее национальной формы в особенности. Жалкое бытие, испорченный язык, проданная вера, Что же остается от нации? Кровь, из которой месят новое племя. Новый народ. Только антропологические признаки еще будут напоминать некоторое время об исчезнувшей нации. О погибшем отечестве. Ликует спекулянт: конец не за горами. И этот отступник, продавший праотцев, еще смеет кричать другим: „Отщепенцы!..”

Третье отношение к родине — это Любовь. Квасная любовь — говорят недруги. У слепых один квас в уме. Хотят сказать, что подлинные патриоты — они, а тут, дескать, сплошной квас. Но у всех „не-квасных” всегда обнаруживаешь бычью ненависть к отечественным святыням, к нравственному наследству предков. И ведь знают прекрасно, что не в квасе дело, что влюблены в дух и честь, но как сладко лягнуть чужое. Впрочем, после души и флага, после алтаря и мудрости, как последнюю ступень храма, почему бы не принять и квас? До пограничного ручья и дедовского наличника, до вздоха последнего — любить. Назад! Домой! Но кто осмелится повторить

столь не модный лозунг? А как же быть со спиралью, которая вьется все время вверх? Как быть со скепсисом и духовной гульбой, к которой приучил нигилизм? Спираль, она никуда не вьется. У каждого народа своя спираль. Общей для человечества не было и в помине. Нет деревьев вообще, есть ель, баобаб, саксаул. Нет и вненационального человечества. Каждый принадлежит к определенному племени, если только не прилетел из соседней галактики. Человек имеет мать, жену, братьев, родных и троюродных, друзей, единомышленников, близких и дальних. Это уже часть нации. Конкретные живые люди, которых можно любить. Потому что любовь всегда конкретна. Как полюбить далекого аборигена, если ты его в глаза не видел? Через чувство к родичам и друзьям, к однодумцам сегодняшним и вчерашним возникает живое чувство к целой нации. Ни один человек не замыкается в любви к своим. У каждого есть также симпатии и антипатии к другим народам. Кто ровен и одинаков ко всем, тот не любит никого. Конечно, святой, порвавший с мирской греховностью, способен полюбить всех. Он способен полюбить и человечество в целом. Но святые в нашей жизни — редчайшее исключение. И если полагаться только на них, то воз земных дел вытаскать не удастся. Обычный человек больше или меньше симпатизирует другим нациям в зависимости от их чувств к его народу. Если его родину любят все, патриот ответит взаимностью всей планете. Только так может появиться любовь к человечеству. Через собственную нацию. Каждое племя имеет особый психический комплекс, особую совокупность обычаев и привычек, даже особое восприятие по виду универсальных лозунгов. Каждое племя имеет свою судьбу. И если племени

грозит гибель, если племя завели в трясины, неужели патриот будет звать вперед и глубже? Кивать на других? У других, может быть, есть выход, а может, — своя трясина. Другие сами о себе позаботятся. Спасать племя, а не обезьянничать перед веком. Модную дешевку скепсиса, беспринципный космополитизм, прогресс растления — за борт! На этом модном пути можно потерять все, даже самого себя. Там нет цели, если не принимать за цель распад Человека. Преступно по-прежнему семенить вперед. Назад! Только назад! Вернувшись обратно, к месту, от которого начали блудить, надо отдышаться, привести все в порядок и зашагать вперед по другому пути. Назад, чтобы действительно пойти вперед! Конечно, в прогрессе не все плохо. Там есть и ржаные зерна. Кто мешает перенять то, что действительно благо? Что полезно родине. Что целебно народу. Патриот не побоялся заимствований, если они укрепят отечество. Но у родины своя судьба и свой путь. Она — одна на свете. Единственной и незаменимой отдано сердце. Любовь к Ней приходит раз в жизни. И навсегда. За что же ты любишь Ее, брат? Говорят, вид Ее жесток и бесчеловечен, маска до отвращения безобразна. Разве мало красоток на белом свете? Или ты веришь, что лягушка станет прекрасной царевной? Что Кашей не бессмертен? Врагам не понять, что можно до рези в глазах любить Ее, которая для них хуже всех и которая лучше всех. Один честный писатель, растерявшийся на перепутье, выпустил жуткие слова: „Нация воров и пьяниц”. Никогда перед сонмом добродетельных наций нельзя так сообщать о своем народе. Даже если это правда. Ибо такая правда — аргумент врагам. Но представим на минуту, что это так. Нация воров и пьяниц. Ханжей и

ябед. Что вы доказали этим? Любить — это значит переделать. Патриот не тот, кто бахвалится, а тот, кто болеет. Кто хочет изменить и возвысить. Только родина, одна родина способна переделать народ. Никакие права и свободы сами по себе ничего не изменят. Изменить может лишь зов к отечеству. Патриотизм сердец превратит подопытную толпу в гордый и благородный народ. В нацию героев и святых. В цвет человечества. Домой! Под отчий кров. Пусть воют волки на чужих спиралях, чужие волки на чужом пути, пусть берет болото пьяных проводников, пусть расхлебывают сами. Своими заботами сыты по горло. Боль нестерпимая все поглотила. Нация, нация превыше всего. Выводить немедленно. Спасать, если еще не поздно. А если поздно, то жизнь — зачем она патриоту? Прозябать в бессилии, как свыкшийся конь? Но даже если все потеряно, нация исчезнет, логически исхода нет, патриот обязан кричать во мрак: „Назад!“ С надеждой на последний шанс. На милость истории. Терять нечего. А вдруг удача? Народ выживет. Родина расцветет.

Прекрасная, щедрая, полная любви к своим и чужим. Свободная, ни от кого не зависимая. Неподатливая экспериментам прищельцев. Милосердная и могучая. Единая и неделимая. Любимая навсегда. Встанет из пепла неистребимая птица, взлетит над красной равниной сквозь синее небо к белой звезде. Священное имя, которое единицы шепчут в тишине после молитвы, взволнует души сотен и тысяч. Сегодня — до отчаяния мало. Завтра... Соплеменник, брат, где ты? Где твое сердце?

25 марта—2 апреля 1970 г.

В ПОИСКАХ КРЫШИ

О черк

Свои поиски я начал с посещения приятеля, который лучше меня знал местность. „Прежде всего надо узнать у начальника, — посоветовал старожил, — разрешит ли он тебе прописаться”. В тот же день я разыскал начальника и выяснил, что он в принципе не против, но все зависит от другой, более значащей личности. Личность эту я нашел в конце недели.

„К прописке мы не имеем никакого отношения”, — заявил он тоном официального интервью. Я сослался на мнение первого начальника и добавил, что „ведь он-то меня и послал к вам”. — „Он пошутил”, — сказал основной начальник.

Я закрыл дверь. Но спускаясь по лестнице на первый этаж, я вдруг лицом к лицу столкнулся с первым начальником. Произошел краткий обмен слов. Слегка смущенный начальник пожелал мне пожить еще год на прежнем месте, а потом уже пытаться счастья, т. е. прописки, здесь. Но он не знал, что я сжег мосты и выписался из чистенького областного центра, который приютил меня в прошлом году.

Впрочем, „приютил” — это не совсем удачное слово, ибо „уют” возник лишь после месяца упорных

„Посев” № 1, 1971 г.

поисков квартиры. Тамошние начальники и начальницы, всякий раз, когда я находил жилье, ссылались на отсутствие отдельного входа, отсутствие плана дома и т. д. Все же мне удалось прописаться там у одной партийной пенсионерки, и я сравнительно тихо прожил у нее год.

Теперь игрой судьбы я покинул трехсоттысячный город и вознамерился прописаться и жить в несравненно более неприглядном месте, которое имело, однако, географическое достоинство. Оно расположено в двух часах езды от Москвы, а поскольку моя мать, брат и весь круг моих интересов пребывают в Москве, то мне предпочтительнее жить там, откуда мне легче и быстрее добираться до Белокаменной.

Так я променял людный и симпатичный город на захолустье с единственной примечательностью — текстильным комбинатом. Кроме комбината, городок выделяется лишь обилием шпаны и грязи. И все же я решил биться за прописку в этом пункте.

Опадали листья. Я шел от дома к дому, стучался в дверь, вежливо спрашивал, не сдастся ли комната или койка, и после отказа не менее вежливо уходил.

Собственно говоря, прописать меня без жилья некоторые соглашались. „Живите в Москве, а здесь мы вас пропишем за червонец в месяц. Ведь так все делают”, — говорили домохозяева. Но я знал, что это называется нарушением паспортного режима и не хотел хитрить перед секретным законом.

Домохозяева удивлялись моей щепетильности, а кое-кто посчитал меня за лопуха. Ибо, сунувшись в их дыру, я хотел в ней жить и работать. А хозяевам это было не нужно. Ясно, что удобнее получать десять рублей в месяц за один штамп в паспорте, чем те же десять — за штамп плюс койка.

У меня было достаточно соперников, готовых жить в Москве, и я терпел поражение. Наконец, одна тихая старушка, шедшая навстречу мне с полными ведрами, согласилась сдать половину своего дома, т. е. целую комнату и закуток для печи. И хотя она предупредила, что сдает лишь до лета, когда вернется ее сын из лагеря, я с радостью согласился.

Конечно, платить за отдельную комнату надо уже не 10, а 20 рублей в месяц, не считая дров, которые жилец добывает самостоятельно. 10 рублей стоит лишь площадь для койки в избе без перегородок.

На другой день с этой тихой старушкой мы заняли очередь к начальнику. Начальник принял нас доброжелательно.

„Давайте экспликацию“, — сказал он. Это такая бумажка, на которой обозначено количество жилой площади. У меня замерло сердце. „Не хватает двух метров. Санитарная норма — девять метров на человека. Прописать не могу“, — сказал начальник.

Старушка начала было уговаривать, доказывая, что все равно никто из них в моей просторной половине жить не будет. Но начальник был непреклонен. „Это — постановление правительства. И мы его нарушать не посмеем“. Я невольно изумился справедливой твердыне. „Вот это скала. На таких государство может положиться“, — хотелось подумать мне. Спустя пару недель начальник прописал на этой непрокрустовой площади более достойных, чем я.

Круг начался сызнова. В хождениях по домам я наткнулся на участливого печника, который не поленился вместе со мной зайти в пару изб, а потом вдруг сказал: „Приходи в 2 часа к столовой, я что-нибудь придумаю. Ведь я тут всех знаю“.

В 2 часа он радостно заверил меня: „Нашел, друг,

отличных хозяев, пропишут тебя и жить будешь, как в масле кататься”. — „Ну, так пойдете ж сразу. Я вам за такую помощь бутылку поставлю”. — „Нет, друг, сегодня нельзя. Приходи завтра к Ленину в 11 утра, мы оттуда (он махнул на скамью в садике) к ним и направимся. Будь спокоен, уж я-то не подведу”.

Взволнованный нежданной помощью хорошего человека, я тут же поставил бутылку из своего НЗ, послушал фронтовые рассказы и расстался с ним едва не в слезах. „Друг, не забудь — завтра в 11. На меня как на себя положишься”. Ни в 11, ни в 12 и никогда больше я не видел этого симпатичного печника.

Снова брел я по улицам, натыкаясь на сердитых собак, недоверчивых старух и равнодушных мужчин.

В одной крайней избе без палисадника мне улыбнулась удача. Пожилая мать и сын (с видом „Я тебе покажу!”), расспрашивая, изучая мои документы, согласились прописать меня вместе с жильем.

„Он мне понравился. Я его пропишу”, — сказал сын. Выяснилось, что мать живет в другом доме, а сын моих лет прописан и живет здесь. Есть санитарная норма и согласие хозяев. Но я не кричу „Ура!”, хотя и близок локоть.

На следующий день утром я встречаюсь с мамашей, чтобы идти прописываться, но она отводит меня за рукав в сторону и скорбным голосом объясняет мне, что сын вернулся из тюрьмы покалеченный, что в черепе у него пластинка, что он буйный, от него ушла жена, а вчера она не могла этого сказать при нем. В доме его гудят собутельники, и житья там не будет. Ей было жаль меня, и она посоветовала зайти к одной прачке из бытового обслуживания.

Неудачи не то чтобы подстегивали меня, а дела-

лись своего рода рабочей нормой. „Здесь ясно. Точка. Идем дальше”, — говорил я себе, точно выполнив часть дневной нормы.

Прачка поморщилась и хотела тут же уйти. Но я научился настойчивости. Чтоб отвязаться от меня, прачка дала другой адрес.

Женщине по другому адресу понравилось во мне все. Они с сыном занимали дом, сын — в одной, мать — в другой половине. „А жена ваша с вами будет жить?” — „Нет, что вы, она будет жить в Москве. Я сам к ней буду ездить по выходным.” — „Ах, вот как. Ну, извините, одинокого мужчину мне не надо”.

Я интуитивно почувствовал ее боязнь, что я буду пить, как сейчас пьют все, что в сыне ее я найду дружка и мы начнем куролесить. Напрасно я опровергал ее невысказанные опасения. „С женой бы я вас пустила. Когда с женой, то все же спокойнее”. — повторяла она и напоследок дала мне новый адрес.

Идя вдоль забора, я случайно встретил женщину средних лет и заученно повторил свою просьбу. Женщина очень внимательно стала смотреть на меня, оставила ведра, и я понял, что она готова к долгому разговору. Она рассказала, что живет одна в доме, что родня ее разъехалась в разные стороны, и пропишала бы она охотно.

„Вот только ваша жена, наверно, будет против?” — отчетливо спросила она. Тут только я всмотрелся в нее и увидел, что она, хотя и старше меня лет на десять, но еще — женщина.

Все эти недели я был так забит своими заботами, так полон тревожным отчаянием, что до мыслей этого рода мне было далеко. Я попытался извернуться.

„А можно, на худой конец, я пропишусь у вас, а

жить буду где-нибудь по соседству?” Мы поторговались, но договориться не смогли. Ее устраивал лишь первый вариант. Мне пришлось топать дальше.

В хорошо натопленной избе я застал веселье и самогон. Улыбчивая хозяйка усадила на лавку, а два мужика вступили со мной в беседу. Людям всегда нравится скромный, покорный вид неудачника. Я представлял ту роль, которая им нравилась.

Грозного вида пастух, гость хозяина, стукнул кулаком по столу: „Я тебя пропишу!” — „А жена ваша не будет против?” — „Кто в доме хозяин?! Я — хозяин! Стукну кулаком по столу и она пикнуть не посмеет”. За сим последовали крепкие ругательства.

Пастух казался мужчиной железной воли. Любопытно, что чем больше становится бесхарактерных и бесцельных мужчин, тем обильнее букеты ругательств. У нас не знают иной возможности показать мужество, как упомянуть половые органы и соответствующие глаголы. Впрочем, женщины и по этой части скоро сравняются с мужчинами. Так что мужеством будут обладать оба пола. И все же я поверил этому пастуху.

На другой день утром я зашел за ним, чтоб идти за желанной печатью в паспорте. Пастух был пьян. Был пьян его взрослый сын и их третий приятель. Меня угощали брагой, я отказался. Приятель раз пятнадцать объяснял мне, что при прописке потребуется фотокарточка. Пятнадцать раз мне пришлось ответить:

„Большое спасибо вам за совет. Теперь я буду знать”. Сын подзадоривал отца: „А если ты не сможешь его прописать?!” — „Смогу! Я все смогу!” — кричал отец. „Так как же мы решим вопрос?” — спросил я. „Видишь, брат, в каком я виде? Как мне

идти к начальнику? Ты уж приходи завтра утром. И не тревожься. Я тебя пропишу! Мое слово — закон!”

Я пришел на другой день. На двери висел замок, сбоку лаял пес. Я обошел дом и постучался с другой стороны, где жил пастухов сын. Молодица объясняла детям задачу. Она разбудила мужа, храпевшего на печи. Муж, т. е. сын пастуха, очень недовольно посмотрел на меня (накануне, под брагой, он клялся, что будет моим лучшим другом), и я, собственно, понял все. Но меня интересовали психологические подробности.

Сыну пришлось обходить дом, который, оказывается, не был заперт на ключ, входить в половину отца и поднимать его с печи. „Вставай. К тебе пришли”, — буркнул он и убежал к себе.

Пастух очень долго слезал, долго тер глаза, смотрел на меня с удивлением. „Вы что, не узнаете меня? Я же пришел, как мы вчера договорились”. Он был трезв. „Видишь ли, старуха против. Ни в какую”. Я сказал что-то из Крылова или Мольера, выцедил: „До свиданья” и пошел, куда глядели глаза. Вспомнив адрес, который дала не любящая одиноких мужчин, я зашагал веселее. Все-таки стрелка компаса. Чтобы не терять времени, я ловил всякого, кто попадался навстречу.

За месяцы поисков мне встречались хмурые, грустные, вредные, злобные, а порой и добрые лица. Хмурого я старался разжечь разговором, вредному я льстил. С грустным я был самим собой, говорил без утайки о себе и охотно выслушивал его.

Быть может, сама жизнь есть овеществленная грусть, но от человека зависит, по крайней мере, не доводить грусть до холодной мерзости. О, я бы хотел грустить по-человечески!

Со злобными я не вступал в беседу, был официален и краток: „Не знаете?.. Извините”.

Приятно и тепло становилось при встрече с добрым лицом. Они попадаются еще, слава Сергию. Несколько добрых лиц помогли мне больше, чем все остальные — несколько сотен, наверное. Не их вина, что суровый начальник всякий раз выдвигал какой-нибудь свежий довод против моей прописки. Я посещал его кабинет раз в неделю, а то и чаще.

Случай представил мне пожилую женщину, лицо которой мне сразу не понравилось: страх, хитрость и что-то неуловимо холопское прочел я с первого взгляда. Я, то есть моя устная анкета, ее расположил. Они с мужем уже обещали сдать комнату одному бывшему хулигану, но у них есть смежная комната, и мне было предложено приехать завтра к пяти для переговоров. „И старик мой будет, и хулиган этот, мы все и уладим”.

В пять хулигана не оказалось. Но дома был старик, бодрый и щуплый. Он пил брагу, я тоже глотнул, чтобы не показаться брезгливым, вкратце рассказал о себе.

Старик был в ударе. Я стал его лучшим другом. „Я, брат, в разведке служил. Это не шутка” — „Да, большой риск”, — посочувствовал я. Тут только я заметил, что в доме его нет икон. „Знаешь, что я тебе скажу, хулигана прописывать вообще не буду. Тебя одного пропишу”.

Мы осмотрели мою будущую комнату. „Ну, так как мы в цене сойдемся?” Разведчик помялся, осторожно промолвил: „По тридцать?” — „Нет, что вы. У меня столько денег не будет. По двадцать только”. — „Ну хорошо, по двадцать, по двадцать”, — задвигал дрожащими руками старик.

Через два дня (раньше он не мог) мы явились в отделение. Разведчик и тут был немного выпивший. Начальника не было, принимал зам. который дал согласие на прописку с пометкой „при наличии 9 кв.м”.

Мы заняли очередь в паспортный стол. Моего старика тут все знали. Один даже пригласил его к себе покурить. Старик вернулся с какой-то суетливостью на лице, ринулся без очереди к паспортистке и, вернувшись ко мне, сказал: „Пошли. Придется обождать до понедельника”. — „В чем дело?” — „Нужна справка из горкомхоза. Без справки не пропишут”. Но я понял, что дело не в справке.

Дул ветер. Я остановил его у фанеры с надписью „Человек человеку — друг, товарищ и брат” и начал допытываться, что ему сказал приятель из отделения.

Язык плохо слушался разведчика, и он выложил мне начистоту: „Статья у тебя плохая”. — „Но я же не скрывал от вас”. — „Видишь ли, я тебя не так понял. Я думал, это просто... студенты, молодежь... А тут, оказывается...” И он добавил с упреком: „Ты ведь не вор?”

Я покраснел: я ведь в самом деле не вор.

„Хотите, я привезу вам свою жену? Она вам докажет, что я чист, язык мой на привязи и больше ничего не случится”.

Ему было немного стыдно, и он ответил: „Ладно, привози жену”.

Я привез Марину Влади, которая сумела очаровать стариков, и они оба решительно объявили: „Плевать мы хотели, что про тебя болтают. Пропишем тебя обязательно”.

Тут подступили октябрьские праздники, день народной милиции и, наконец, мы отправились с домо-вой книгой.

„Вы же троих не выписали”, — сказали нам в паспортном столе. Пришлось потратить день на выписку снохи и двух внуков, давно уже не живших со стариками. Но когда встал вопрос о моей прописке, та же законница-паспортистка сурово заметила: „У вас же не хватает полметра”.

„Как полметра? У них же до меня трое были прописаны”, — удивился я.

„Не знаю. Не хватает полметра. Прописать не могу”.

Тут во мне шевельнулось подозрение, что все это не случайно, что некая невидимая рука царит над начальниками и начальницами. Хотел бы я видеть эту руку!

В запасе оставался адрес, который дала не любящая одиноких мужчин. Все это время я хранил его в памяти, как последнюю соломинку. Теперь я пришел на эту улицу, но меня встретили хмуро и недоверчиво: „Нет, нет. Мы никому не сдаем. Вы ошиблись”. Заметив, видно, мою растерянность, люди заговорили о тесноте, бандитах, мошенниках и о чьей-то скорой свадьбе. Я натянул перчатки и вышел. Бушевала собака, оплакивая кормежку и цепь. Говорят, собаки лучше людей в смысле верности. Я таких собак не встречал. А из друзей меня продал лишь один.

Снова шел, расспрашивал, сговаривался. Вдруг одна словоохотливая ткачиха сообщила, что неподалеку продается комната в одной очень ветхой халупе. Поскольку я был одет по-московски, она добавила: „Вам покупать не советую. Халупа ужасная”. Я обрадовался: если „ужасная”, значит — дешевая.

Подойдя и осмотрев хижину, я обрадовался еще больше: халупа накренилась вбок и вниз, она была

до того неказиста, что стояла, наверно, недорого. Зайдя к тем, кто ее продавал, я узнал цену — двести рублей. Неделю мы с мамой скребли деньги, она занимала в долг, и, наконец, я смог купить эти 12 квадратных метров.

Начальник оказался сущим благодетелем: он решил прописать меня на один месяц „в связи с покупкой дома”.

Со следующего дня я уже искал работу. Не потому, что я боялся прослыть „тунеядцем” и быть высланным в административном порядке, а просто из-за того, что у меня не было денег, и я жил впроголодь. Высшее образование не помогло: учителем меня не брали.

Однажды, зайдя с тоски в кино, я увидел объявление: „Требуется администратор”. Узнав у директора, что зарплата администратора — 65 рублей, я понял, что никто к ним не пойдет, и предложил себя. После коротких колебаний директор принял меня, и я проработал день. Утром второго дня, когда я насел на него с кучей рабочих предложений, он слегка смутился, но сказал: „Век живи — век учись. Оказывается, нельзя принимать на работу с временной пропиской. А я и не знал”.

Я ринулся еще в несколько мест, но всюду получил отказ. В отделе кадров Листопрокатного завода меня упрекнули: „А вы уже давно без работы...”. Но на работу не приняли.

Явившись вновь к начальнику, я попросил его продлить прописку. Дело в том, что еще не прошло 6 месяцев со дня смерти хозяйки и договор о продаже комнаты мы с наследницей заключить не смогли. Из-за отсутствия договора начальник отказался прописать меня дальше. Он пригрозил тут же, что

по истечении месячной прописки меня вышлют из города. „Что вы привязались к Энску? Энск — ваша родина? — „А где же моя родина?” — спросил я, но он опустил глаза.

По простоте душевной я считал своей родиной Россию, дороже которой, кажется, ничего быть не может. Россия, русский народ — эти слова для меня как заклинание, и я не могу быть спокойным при этих звуках.

Чтобы не быть высланным в административном порядке, я спешно начал искать домохозяев, которые бы прописали меня на оставшиеся три месяца. Две пожилые женщины обещали прописать меня, и обе обманули. Когда в назначенный день я стучался к одной из них, проходившая мимо соседка сказала: „Она же в церкви”. Я вспомнил, что сегодня Николин день. Потом, когда я случайно встретил эту набожную женщину, я поклонился ей: „Вот она, любовь к ближнему”. — „Тоже мне ближний”, — съязвила бабушка. — „Странно, как это у них все совмещается”, — подумал я. Все же мне удалось уговорить третью старушку.

Мы явились к начальнику. Придаться было не к чему. И все же начальник сообразил: „Кто у вас прописан?” — „Я и внучка”. — „Вот и выписывайте внучку, а потом пропишите его”. Смирная старушка растерялась, но я доказал, что и помимо внучки жилплощади более чем достаточно. „Тогда идите в паспортный стол и прописывайтесь”, — сказал начальник, но разрешения на уголке бланка не написал.

Начальница паспортного стола (кстати, моя землячка, мы с ней с Псковщины) сказала: „Мы вас пропишем. Но сначала позовите участкового. Надо согласовать с ним”.

Я бросился в кабинет участкового, но он был заперт, а дежурный сказал, что участковый будет лишь после обеда.

Нам со старушкой пришлось возвращаться на автобусе. По воле рока в тот же автобус села дочь моей старушки и решительно отговорила ее от мысли прописать меня. Выйдя из автобуса, старуха отказала мне. Я попытался нажать на ее национальные чувства в том смысле, что будь мы с начальником грузины или чеченцы, то я бы давно был прописан, а вот у нас, русских, нет солидарности и нет дружбы, но старуху не тронула отвлеченная речь.

Начальник был немец. Один еврей, стоявший в очереди к нему, узнав об этом, сник: „Ай, ай, куда я попал? Надо ехать в район к русскому”. Но начальник не был ни антисемитом, ни русофобом. Он был просто — начальник. А когда я пожаловался на него чистокровному, как я, русскому, тот с еще большим раздражением выпалил: „Уезжайте назад. Вы обязаны жить там. Мы вас здесь не пропишем”. Неужели та огромная равнина, которую мы освоили, лишила нас связи, дружбы и чуткости? Или виной климат? Век?

Позже я узнал, что дочь моей смиренной старухи села в автобус не по воле рока, а по звонку моей землячки-начальницы, которая велела ей срочно ловить мать и отговорить от чудовищного намерения.

„Неужто я в самом деле такой злодей?” — подумал я. В шесть лет я украл пучок лука с чужого огорода; еще я был горд, любил женщин, но других грехов я как-то не мог вспомнить. „Видно, моя гордыня ничего не помнит. Или всему причиной те разговоры восьмилетней давности?” Но я по сей день считаю, что эти разговоры и мысли не были страшными, что судья явно переборщил.

Еще один поиск и — благожелательные пенсионеры согласились прописать меня. Инженер и учительница. Мне было приятно встретить, наконец, интеллигентных людей и обстоятельно рассказать им о своем прошлом. Они напоили меня чаем и уверили, что выручат. Но им также пришлось столкнуться с молчаливым сопротивлением начальства, и, обескураженные, они отказали мне. Поскольку их лица были явно добрыми, мне пришлось пережить особенное разочарование.

Вскоре я подслушал возле колонки разговор двух старух: „Может, он и хороший человек, да его начальство не любит. А кому охота с начальством связываться?” — „Бог трусов не любит, бабушка”, — сказал я, подставляя ведро под струю. Старухи поджали губы и поковыляли к избам. Семья, дети, бутылка, труд, очереди, телевизор... Я не знаю, где кончается равнодушие и начинается трусость. А может, это одна медаль, которой наградили нас.

Пришла повестка из военкомата. Я рядовой запаса; меня призывают? В эпоху конвергенции и мостов войны не предвидится, мир благоразумен и терпим. Я пришел в назначенный час. Оказалось, они интересуются, где я работаю. Я объяснил, что пока нигде не работаю, что добиваюсь постоянной прописки. „Все вы добиваетесь. Знаем мы вас”, — сказала женщина. „Кого это н а с?” — уточнил я. Женщина спохватилась и поспешно ответила: „Мужчин, конечно”.

Искать больше было нечего. Но мне посчастливилось в момент окончания прописки устроиться на здешний комбинат грузчиком. Отдел кадров, ошибочно принявший меня, через день срочно потребовал, чтобы я прописался постоянно. Пришлось вновь

являться к начальнику. „Как они посмели принять вас на работу?“ — спросил он.

Впервые представитель власти говорил не в цвет Указа о тунеядстве. Или он мечтал подвести меня под этот Указ?

Я вернулся домой в свою холодную комнату. Надо добывать дрова. Достаю санки, накладываю остатки полусгнивших досок от снесенного трактором барака и тащу их, кряхтя от жадности и тяжести, в гору к своей хижине. Зима не страшна, когда в печи пылают дрова и можно сварить крепкий цейлонский чай.

Вышлют меня или не вышлют? Явится участковый брат с меня подписку о выезде?

Но мне некуда ехать, кроме Москвы. А Москва для меня — за семью замками. Но пока меня никто не тревожит. Завтра в шесть я иду на работу грузить кипы с тканью, а сегодня я пью чай, мне тепло и почти спокойно.

Уверенный сильный стук в дверь. Кажется, это пришел участковый. „Кто там?“

Испуганный женский голос. У меня отлегло от сердца. Она отдышалась и стала извиняться за резкий стук: „Хулиганы пристали. Я думала, они бегут за мной“. Усмехаюсь: эка невидаль. Вот если б мясо выкинули... Оказалось, она шла к бабушке погадать о своем горе.

Покойная старушка, в комнате которой я поселился, пенсии не получала и жила гаданием. Мне уже приходилось слышать о ее ремесле. Все отзывались восторженно. Отец ее был купец, и поэтому все их семейство некогда загремело. Повезло лишь одной,

в то время юной девочке. Приютила доброхотка-игуменья. Много лет провела она в монастыре и лишь в пожилом возрасте перебралась в Энск. Здесь и дожила век. Я рассказал продавщице о смерти прежней хозяйки комнаты и с грустной улыбкой предложил, что лично я могу лишь дать характеристику по ее созвездию.

Прошел месяц. Пришел ответ на мою жалобу. „Такого-то прописать в Энске”, — приказала Москва. Ура! Справедливость восторжествовала. Все-таки есть правда. Вместе с правдой я получил повестку из милиции. „Вы почему не прописываетесь? Мы же вас оштрафуем”, — грозно заявила землячка из отделения. К счастью, меня не оштрафовали, а приказали немедленно прописаться.

Оставалось два месяца до наступления срока наследования, однако в этой комнате прописываться было запрещено. Я возобновил поиски и поймал „двух зайцев”.

Сначала сходил к начальнику с одним осторожным мужиком. Полагая, что, во-первых, я прописываюсь на два месяца и, что, во-вторых, после торжества справедливости не будет преград, я не стал объяснять мужику свое темное прошлое. Но у мужика уже был прописан один такой. Правда, не такой, как я, а обычный, но начальнику было наплевать. Ведь он не раз говорил: „Нам дела нет, какая у вас статья. Для нас вы все равны”. То есть, что я, что вор, что сексоман-насильник. Мы все для них — равны!

Мужик залепетал: „А он мне сказал, что он преподаватель”. — „Он такой же преподаватель, как я поп”, — злобно пошутил начальник. Мужик испуганно глянул на меня и, извиваясь перед столом, подобрал домовую книгу.

Я бегом домчался до остановки, сел в автобус и явился звать другого пойманного мною „зайца” — добрую верующую старушку. Я успел явиться с ней до конца приемных часов. Тут преград не было, а выдумывать начальник, видно, устал. Разрешил. И при этом, приятельски улыбаясь, сказал: „Вот и все. Живите на здоровье. И не надо нервничать. А через два месяца мы вас пропишем в купленной вами комнате”.

Минули два месяца. Наступило желанное число. Больная старушка-наследница едва доползла со мной до нотариальной конторы. „Оформить договор о купле-продаже мы не можем. Вот бумажка”. На бумажке значилоси, что власть Энска приняла решение снести двадцать домов по улице Первого чекиста и среди них — мой. Решение датировано восьмым днем моей месячной прописки, т. е. на восьмой день, как мой начальник узнал, что злодей покупает эту комнату. „Идите к председателю. Если он разрешит вам в порядке исключения, я оформлю”, — посоветовала конторщица.

В приемный день мы заняли очередь к председателю. Старушка решила идти одна. „Кому угодно продавайте комнату, только не...” — председатель назвал мою фамилию.

Я оказался популярной фигурой. Меня знал Энск. Как удивительно дружны энцы! Какая пылкая ненависть связала моих начальников! Они не хотят, чтоб я жил в Энске. А тысячи других начальников не захотят, чтоб я жил у них.

Куда же деваться? Пропишет ли милиция Швеции? Поставит ли штамп начальник паспортного стола Нью-Йорка?

Побитый, готовый вернуться в лагерь, я взял рас-

чет. На деньги, добытые потом грузчика, съездил к морю и позабыл все. Вглядываясь в непролетарскую даль, я декламировал Пушкина:

„Где благо, там уже на страже
Иль просвещение...”

Зловеще мелькнули лица начальников. Нет, отдыхать нельзя, надо ехать. Я вернулся, и тут меня ждала грозная повестка: „Вы уже две недели не работаете. Даем вам пятидневный срок”.

Не 5, а целых 8 дней я был без работы, и меня никто не тронул. Либералы. Я устроился на работу в городе Икс, рядом с Энском. Десять минут электричкой. В Иксе мне повезло: я нашел комнату в кооперативной квартире. Там жила одинокая старушка, которую я очень тронул: не курю, не пью и не похож на бандита.

Явившись к новому начальнику, я назвал свою страшную фамилию и спросил напрямик, пропишет ли он меня. С кислой миной начальник ответил: „Если кооператив не возражает, мы не против”. Бедняга надеялся, что кооператив откажет. Мне пришлось разрушить его надежды. Нехотя, медленно выводя буквы, начальник написал: „Разрешаю прописку сроком на 1 год”. После этого я, как имеющий темное прошлое, был направлен в кабинет номер такой-то. Там меня допросили, изучили бумаги, взяли с меня две фотокарточки (видимо, на случай побега) и отпустили с миром. Я сдал документы паспортистке кооператива и пошел купаться.

Через два дня паспортистка сообщила о неудаче. Соседка моей старушки, сварливая 50-летняя фурия, явилась в милицию с заявлением, узнав, что рядом с ней хотят прописать сидевшего, она будто протестовала. Соседям она расписала меня, как от-

петого вора и грабителя. Я так и не понял, в чем дело. Ведь Октябрина меня совсем не знала. Или она в самом деле перепугалась за холодильник и шторы, или ее напугали? Туман секретов.

Я — в кабинете начальника паспортного стола. Беспощадно суровая нимфа закона. О заявлении соседки — ни слова. „Мы в кооперативном доме не прописываем”. — „Но ведь почти в каждой квартире прописаны квартиранты”. — „Мы их всех выпишем”. — „Покажите, пожалуйста, бумагу с решением”. — „Это устное решение горисполкома”. — „Хорошо, я пойду выясню”. — „Это решение облисполкома”, — вдогонку выпалила жрица порядка. Никто в горисполкоме о таком решении не слышал.

Я вернулся в отделение, но направился уже к самому начальнику. Была вызвана и моя стражница. Как ни в чем не бывало, начальник спросил ее: „Почему его не прописываете?” Стражница официально промолвила: „Есть заявление соседей. Они протестуют”. — „Полчаса назад у вас был другой довод”, — удивился я. Ничтоже сумняшеся, они подтвердили и этот довод. Открыто, без всякого стеснения. Мое проклятое воспитание не позволило назвать их лжецами. Удивительнее всего, что начальник так легко отказался от собственной резолюции. Ну хорошо, пусть хитрость, маневр, политика. Но стоит ли зтого честь мужчины? Увы, за свою жизнь я видел столько женоподобных мужчин, без гордости, воли, смелости... без верности своему слову.

В добавление ко всему начальник уличил меня: „Что вы мотаетесь из города в город?” Было глупо, но я объяснил, как одолели меня власти Энска. Начальник задумался. Немец был под его началом, потому что Энск подчинялся Иксу. Его подчинен-

ный сумел выжить меня со своего участка. И даже спихнул на шею главному. Выживет ли теперь он меня?

Я знал, что предстоит новая длительная борьба, и объявил, как Святослав – хазарам:

„Я готов ко всему, но из города Икс н и к у д а не у е д у !”

Июль 1970 г.

ПЛОЩАДЬ МАЯКОВСКОГО, СТАТЬЯ 70-я

29 июля 1958 года в Москве был открыт памятник известному политическому поэту Маяковскому. На площади его имени собрались, как писали газеты, „тысячи москвичей”. Романтик Тихонов перерезал ленту, а министр культуры Михайлов произнес речь. В заключение митинга несколько признанных поэтов читали свои стихи, а по окончании официальной части стали читать стихи сами собравшиеся. Это нежданно возникшее и никем не запланированное „мероприятие” понравилось всем. Желавших декламировать было много, надвигались сумерки, и тогда решили собираться у памятника и впредь.

13 августа в газете „Московский комсомолец” появилась заметка „В гости к Маяковскому”, где упоминались самочинные выступления поэтов и давалось объявление:

„Собравшиеся решили обратиться через газету ко всем молодым москвичам — любителям творчества поэта — с предложением: встречаться у памятника 19 числа каждого месяца в 10 часов”.

Молодежь, обрадованная такой возможностью, приходила гораздо чаще, чем раз в месяц. Читали Маяковского, Симонова, Есенина, Евтушенко, забытого Гумилева, Ахматову, тогда еще не преданного

„Грани” № 80, 1971 г.

анафеме Пастернака и многих других. Читали и свои собственные стихи. Среди множества выступавших были, конечно, и графоманы и посредственности. Был рабочий поэт — коммунары Федянов. Забегая вперед, отмечу, что из того же множества с годами выделилась группа действительно талантливых молодых поэтов: Галансков, Ковшин (Вишняков), Щукин, Шухт, Морозов, Михаил Каплан. Площадь Маяковского стала первой аудиторией и для будущих комсомольских поэтов (Волгин).

Вечера не ограничивались одними стихами. За поэзией возникали идеи. Никакое бюро заранее не намечало оппонентов, никто не „направлял” выступления, каждый говорил, что хотел.

Дискуссии в центре Москвы! Долгие десятилетия ничего подобного не было, и вот негаданным ветром занесло озон. Спорили об искренности в литературе, о тогдашних „ревизионистах” Дудинцеве, Яшине, Тендрякове („Ухабы”), о Кочетове с его враждой к интеллигенции, о разных направлениях в живописи, даже о генетике и теории относительности. А иногда смельчаки касались запретной темы — политики. Крамолы особой не было: хвалили Гомулку за либерализм, порицали антипартийную группу Молотова, Кагановича, Ворошилова, одобрительно отзывались о рабочих советах в Югославии. В спорах мелькали имена Плеханова, Имре Надя, Г.К.Жукова, Мао Цзэ-дуна, Ганди, возникали схватки по философии: Гегель, Шопенгауэр, Рассел, экзистенциалисты. Но я совершенно не помню, чтобы кто-либо высказывался с контрреволюционных или консервативных позиций, не помню даже, чтобы кто-либо ставил под сомнение „Октябрь” и необходимость коммунизма в России. Встречались лишь новоявленные сен-симоны, сватавшие социализм за свободу.

На глазах этой молодежи (образца 1958-61 гг.) произошло крупнейшее событие — был низвергнут человек, настолько олицетворявший существующую систему и идеологию, что сами слова „советская власть” и „Сталин” казались синонимами. Все мы, будущие крамольники, на заре юности были фанатичными сталинцами. По зову этого человека, казавшегося нам вершиной человеческого ума, воли и совести, мы готовы были сделать все. Мы не глядели в жизнь, не замечали нищету деревень и самодурство чиновников, мы верили с истинно религиозным рвением. Культ личности явился сверхизвращением традиционного почитания вождя.

Доклад Хрущева и XX съезд уничтожили нашу веру, вырвав сердцевину мировоззрения, а сердцевинной был Сталин, ибо таковой была пропаганда марксизма за предыдущую четверть века. Старым коммунистам было легче: для них Сталин не был гвоздем, на котором держался социализм. С ненавистью обманутых фанатиков мы набросились на нашего „оборотня”. Чиновники, для которых политический строй никогда не был предметом поклонения, немедленно записали нас в разряд врагов. Позднее чекист Поляков удивлялся:

„Когда мы следили за вами, мы поражались, сколько деловых встреч совершилось за день, как вы успевали пересекать город из конца в конец. Вот нашим бы комсомольцам вашу энергию”.

Увы, в самом начале вы отшвырнули нас, единственных, кто беззаветно защищал бы систему, ту часть поколения, которая всегда двигала историю, могла бы укрепить и усилить государство. Функционеры этого не пожелали и отбросили всех идейных...

1956 год явился весной надежд. Но весна повер-

нула вспять, и в 1958 году мы оказались в тупике. И вот сумятицу сомнений и поисков мы вынесли в стихийно возникший клуб под небом. Писатель К.Лапин в статье „О 'клубе' на площади и клубах, которых нет” („Московский комсомолец” от 21 сентября 1958 г.) вполне одобрительно отзывался о „площади Маяковского”.

Лично я в то лето убирал хлеб на целине по комсомольской путевке. Вернулся в начале октября. Мои друзья познакомили меня с завсегдаятами площади Маяковского и, прежде всего, с Анатолием Ивановым (Рахметовым). На протяжении 1958-1960 гг. Иванов (Рахметов) много сделал для сближения творческой молодежи. Его роль на первом этапе площади Маяковского значительна. Он сознательно отграничивался от политики и всю энергию посвящал исключительно пропаганде искусства. Лучшие образцы русской дореволюционной поэзии, творчество поэтов, гонимых в период культа личности, стихи современников, особенно не печатающихся, — все это было в центре забот Анатолия Иванова.

Каждую субботу и воскресенье, около восьми часов вечера, у памятника Маяковскому собирался народ. Все постоянные посетители перезнакомились между собой. Мы чувствовали себя среди своих. Скука, о которой часто пишут в комсомольской печати, сюда не заглядывала. С этих собраний уходили нехотя, к часу ночи.

9 февраля 1959 года я публично протестовал в зале истфака МГУ против ареста органами госбезопасности нашего однокурсника, за что был тут же исключен из комсомола и одновременно из университета. В моей жизни наступила полоса неурядиц, и поэтому около года я физически не мог посещать пло-

щадь Маяковского. Ее историю за этот период другие смогут изложить лучше меня.

Зима и весна 1960 года ознаменовались важным событием — начал издаваться машинописный журнал „Синтаксис”. Издатель его — Александр Гинзбург — решил опубликовать в своем журнале поэтов любых направлений. Там были формалистические, религиозные, откровенно советские, „декадентские”, антисталинские и другие стихи. До своего ареста (в июле 1960 г.) А.Гинзбург успел издать три выпуска. В этом журнале не было критических статей, мало прозы, — почти только стихи. Вместе с тем в первой половине 1960 года заметно усилился интерес к „подпольной” живописи. Я имею в виду импрессионистов, экспрессионистов, формалистов, абстракционистов. Впрочем, под абстракционизмом мы понимали лишь беспредметную живопись, как, например, живопись Кропивницкого. Живопись Оскара Рабина, В.Я.Ситникова, Вейсберга, конечно, не укладывалась в рамки представлений администраторов, но абстракционистской мы ее назвать не могли. В пропаганде этих художников среди московской публики мы часто ссылались на польских художников и в особенности на творчество известного коммуниста Пикассо.

Вместе с Анатолием Ивановым и кругом наших однодумцев я организовывал выставки этих художников на частных квартирах. Спустя много лет я внутренне отрешился от всякой живописи, которая покидает природу и человеческую душу; мне стал неприятен своим аморализмом абстракционизм и смежные с ним направления, я понял, что полотна Пикассо вопят об относительности всего святого. Но я не хочу зачеркивать свою молодость и свои усилия,

отданные в 1960-1961 гг. пропаганде левой живописи. Я ни в чем не раскаиваюсь. Пропаганда формалистических направлений сделала свое доброе дело — пробила брешь в стене конформизма.

С середины 1960 года наступает второй и последний период площади Маяковского — „маяка”. Наша компания обрастала новыми людьми. Среди нас появился „начинающий писатель” Яценко. Однажды после знакомства на выставке английской живописи мы договорились о встрече с другой компанией. Встретились у памятника Горькому. Тут оказался и Яценко. Мы думали, что он из их круга, а наши знакомые сочли его „нашим”. Яценко оказался осведомителем. Был ли он „общественник” или получал зарплату, — я не знаю. Самое смешное, что ему нечего было показывать, кроме как о наших взглядах на живопись и литературу. Мы как раз собрались по примеру Гинзбурга издавать машинописный журнал. Только не с одними стихами, а „по-настоящему”: критику, прозу, поэзию, хронику и т. д. Но вскоре по доносу Яценко нас, одного за другим, стали вызывать на допросы. Поскольку у нас никакой политикой не пахло, дело ограничилось погромной статьей в газете „Московский комсомолец” от 29 сентября 1960 г. — „'Жрецы' помойки № 8” Р.Карпеля. Статью предваряло „письмо в редакцию” В.Яценко. Назвав Анатолия Иванова, Игоря Шипачева и Оскара Рабина отщепенцами только за то, что им нравится формализм, „негодующий” Яценко заявил:

„Они топчут все светлое, человеческое”, учат других „вести такой же паразитический образ жизни”, вдалбливают новичкам „свои бредовые идеи”.

В том же тоне была выдержана и сама статья. Оклеветав Иванова, что тот якобы слонялся „в поис-

ках места потеплей и поуютней” (хотя Иванов много лет питался лишь килькой и растительным маслом, целиком отдаваясь пропаганде искусства), Карпель осмеял Виктора Калугина, Шипачева, бросил комом грязи и в меня. Позднее, касаясь выходки Карпеля, я заметил своему следователю, что если бы действительно к работе мои руки не протянулись, я бы протянул ноги. Чекист усмехнулся: „Журналисты любят гиперболу”. Кстати, Яценко именовал меня Виктором, и под этим именем я оказался у Карпеля!

Нет, не „комариный писк хилой кучки бездельников” тревожил Карпеля, а наша судьба. Ведь, по его мнению, наша „общая характеристика — это руки, не привыкшие трудиться. ...А нужно все-таки заставить их добывать хлеб в поту, научить их думать. Тогда они поймут простое и ясное: тот, кто не с нами, тот против нас”.

Позднее, в концлагере, я рубил рельсы, грузил углем вагонетки, разгружал бревна, мешал бетон, словом, добывал „хлеб в поту”, как того требовал Карпель. Но думать по Карпелю я так и не научился.

Арест Гинзбурга взволновал и подстегнул нас. Другим важным толчком к усилению нашей деятельности явились допросы в КГБ и последовавший затем пасквиль Карпеля. Мы жили идеями, а не черной икрой, чего не могли понять сыщики. А на идейного человека, как известно, репрессии действуют обратно тому, как они влияют на человека материи. Естественно, что любой новый акт гонения только взвинчивал нашу энергию. Мы „опасались” одного: что ничего не успеем до решетки...

Собственно говоря, все, что мы делали, не только соответствовало статье 125 Конституции СССР, но даже не нарушало статью 70 Уголовного Кодекса

РСФСР. Мой „подельник” Илья Бокштейн не раз доказывал кагебистам антиконституционность 70-й статьи. Исторически под свободой слова всегда понималось право на критику. Свободу восхвалению предоставлял любой деспот. Состав преступления по 70-й статье заключается в „распространении клеветнических измышлений, порочащих” строй. Где-то в научном комментарии к Уголовному кодексу проводится зыбкая грань между „клеветой” и „критикой отдельных недостатков”. Это — в научном комментарии, а на деле красноярский речник Георгий Большаков был репрессирован по статье 70-й за то, что на стене дома он написал лозунг: „Коммунизм — без Хрущева!” Надпись была расценена как антисоветская, и Большакова за „антисоветскую агитацию и пропаганду” бросили в тюрьму. После событий 14 октября 1964 года Большаков был реабилитирован и досрочно освобожден. Такова юридическая порочность 70-й статьи, криминал которой определяет на свой вкус следователь КГБ. Все, что противоречит передовицам „Правды”, признается крамолой.

С октября 1960 года начинается полоса самой оживленной деятельности. Сокрушить конформизм, единообразие, лишённое творческого начала, — было нашей целью. С этой целью я выпустил в ноябре месяце первый номер журнала „Бумеранг”. Размышления художника Ситникова, критические статьи, стихи Щукина, Шухта, Ковшина, проза Виктора Калугина — такова была вторая (после „Синтаксиса”) попытка издания машинописного сборника. Я подготовил материалы и для следующего сборника. В это время произошло мое знакомство с поэтом Юрием Галансковым, и я отдал ему свои материалы. Позднее он частично использовал их в выпуске сборника „Феникс”.

Мой друг Анатолий Иванов (Новогодний), репрессированный в свое время по делу Игоря Авдеева (приговор Мосгорсуда от 5 мая 1959 года), теперь освободился и принял деятельное участие в работе нашего „клуба“. Большую роль на этом, втором этапе площади Маяковского сыграли Юрий Галансков, Владимир Буковский, Виктор Хаустов. С Ивановым (Рахметовым) начались разногласия. Мы предлагали широкое наступление против конформизма и последствий культа личности. Иванов (Рахметов) продолжал цепляться за „чистое искусство“, которое якобы помутнеет от соприкосновения с политикой.

На протяжении зимы-весны 1961 года „наши люди“ не пропустили на площади ни одной встречи. С группой поэтов и любителей поэзии мы наметили на 14 апреля 1961 года митинг по случаю гибели Маяковского. Оповестили максимальное число знакомых. Однако 12 произошел полет Гагарина, сопровождавшийся подъемом социал-патриотических настроений. Мы посоветовались вечером 13 апреля и, решив, что годовщина самоубийства Маяковского не прозвучит в унисон с полетом в околоземное пространство, отменили митинг. Но было уже поздно. Большинство знакомых предупредить уже было невозможно.

Вечером 14 апреля мы как „частные лица“ пришли на площадь. Увы, толпа собралась большая. Поэты рвались выступать, публика ждала стихов. Нам пришлось возглавить „отмененный“ митинг, чтобы удержать его в рамках лояльности. Вначале была речь, в которой перечислялись жертвы репрессий Сталина. Потом стали выступать поэт за поэтом. Когда дошла очередь до Анатолия Щукина и тот начал читать, толпа подоспевших дружинников взревела:

„Бей его!” Мы сцепились локтями вокруг Щукина и своими спинами отбивали ярость подвыпивших „патриотов”. Им удалось прорвать кольцо, и несколько хищных рук протянулось к Щукину. Мы защищали его, как могли. Людской ком докатился до витрины кинотеатра „Москва”, и здесь Щукин был сдан милиционеру. Одновременно был схвачен и я. Нас „закинули” в легковую милицейскую машину. На следующий день судья приговорил Щукина „за чтение антисоветских стихов” к пятнадцати суткам лишения свободы, а меня — за „нарушение общественного порядка” и „нецензурную брань” — к десяти суткам. Всю жизнь я — убежденный враг хамья, всю жизнь не устаю повторять, что мат — это пароль плетеев; поэтому меня особенно возмутило клеветническое обвинение.

Мы отсидели в КПЗ, в районе улицы Горького. Следует добавить, что для борьбы с „левыми” посетителями площади Маяковского была создана специальная команда дружинников, которая действовала „по-хозяйски”. Позднее „Комсомольская правда” от 14 января 1962 г. утверждала, что „маяковцев” освистывали рабочие. Я такого случая не помню. Среди нас были рабочие, хотя бы тот же Хаустов. Хватали же нас и волокли в милицию не рабочие, а специально подобранные дружинники из студентов. Впоследствии в зале Мосгорсуда, когда очередной свидетель, дав показания, садился в первый ряд (до окончания данного заседания), легко было отличить „наших” в скромной поношенной одежде от „стиляг”-дружинников.

Говорят, что после того, как демонстрация 14 апреля стала известна через западную прессу, действия дружинников, разгонявших собрание, были расце-

нены в верхних инстанциях как „левый загиб”. Похищенные у меня конспекты по философии Спинозы были возвращены через приемную ЦК ВЛКСМ без всяких нотаций.

Встречи на площади Маяковского продолжались. Я предложил своим друзьям выпустить и разбросать на площади листовку. В соответствии с нашими установками я хотел призвать собравшихся теснее сплотиться вокруг здоровых сил партии в целях полного искоренения последствий культа и помочь КПСС довести до конца программу XX съезда. Нам казалось, что усилиям партии в борьбе с культом препятствует значительный слой кадров, назначенных Сталиным. Мы считали, что борьба со сталинизмом должна охватить не только область персональных перемещений, но также сферу экономики и культуры. Большинство отвергло мой вариант листовки, а впоследствии и самый метод подобного распространения взглядов. После этого „умеренные” „маяковцы” стали считать меня „экстремистом”.

28 июня 1961 года в Измайловском парке собрались пять активистов „клуба”: Эдуард Кузнецов, Штернфельд, Анатолий Иванов (Новогодний), я и будущий предатель Вячеслав Сенчагов. Я прочел свои соображения по административно-хозяйственной структуре, созданной Сталиным, и предложил улучшить ее, слегка изменив эту структуру заимствованиями из практики социалистического строительства в Югославии. В то время моделью социализма для нас была Югославия, а авторитетами — Ленин, Тито, Пальмиро Тольятти, а также лидеры „рабочей оппозиции” Шляпников и Коллонтай. Все единодушно согласилось с моими соображениями и спорили лишь о частностях. Излишне напоминать,

что ничего антисоветского в нашем собрании не было. Однако органам КГБ не понравился самый факт нашей самочинной встречи. В их изображении она выглядела так:

„В конце июня 1961 года в лесном массиве Измайловского парка в Москве Осипов, Иванов, Кузнецов в присутствии своих знакомых Сенчагова и Штернфельда обсуждали проект программы антисоветской организации, разработанный Осиповым и содержащий ряд враждебных положений, заимствованных из антиленинских, ревизионистских учений и порочащих политическую линию Коммунистической партии Советского Союза”.

Итак, Осипов, Иванов и Кузнецов о б с у ж д а л и, а симпатяга Сенчагов только п р и с у т с т в о в а л.

Уверяю вас, покойный гр-н Поляков, ваш Сенчагов тоже о б с у ж д а л, и столь же активно, как остальные. Так что „вина”, скажем, Сенчагова и Кузнецова — одинакова. Впрочем, в данном случае Сенчагов на суде сказал правду, а именно: он показал, что я зачитал тезисы не антисоветского, а антипартийного характера, а за „антипартийность”, как известно, даже таких крупных деятелей, как Ворошилов и Молотов, никто не сажал. Отсутствие антисоветских высказываний в моем выступлении, равно как и в высказываниях собравшихся, подтвердил Штернфельд. Показания Иванова в деле отсутствовали.

„Ряд враждебных положений”?! · Оказывается:

„Материалами дела установлено, что антисоветские убеждения обвиняемых сложились под влиянием антимарксистских положений, выдвинутых в разное время фракционерами (т. е. членами коммунистической партии! — В.О.) и ревизионистами, в частности, членами антипартийной, так называемой рабочей оппозиции, югославскими (! — В.О.) и др. ревизионистами”.

Так утверждается в обвинилровке, подписанной старшим следователем УКГБ г. Москвы капитаном Львом Мальцевым.

То, что Кузнецов, я и некоторые другие „маяковцы” (в том числе Сенчагов) разделяли взгляды „рабочей оппозиции” и Союза коммунистов Югославии, — это верно. Но ведь Шляпников и Коллонтай, подвергнутые критике на X съезде РКП(б), не только не были репрессированы за свои взгляды, но даже оставались в партийном руководстве и продолжали занимать крупные государственные посты. Если бы они знали, что в 1962 году Московский городской суд даст семь лет тюрьмы Осипову за два публичных выступления, проникнутых „синдикалистскими” настроениями Коллонтай! Если бы они знали, что тот же суд даст семь лет тюрьмы Кузнецову за одно лишь наличие „синдикалистского” настроения! Ведь ни один свидетель не показал о каком бы то ни было публичном выступлении Кузнецова. Эдуард Кузнецов нигде и н и р а з у не выступил не только с антисоветским, но ни с каким другим вообще заявлением.

Странно получается, гражданин Коржиков. Вы судите Кузнецова за „антисоветскую агитацию и пропаганду”, а этой агитации и пропаганды попросту нет! В отношении себя я признаю, что дважды публично хвалил югославский социализм и президента Тито. Больше того, я даже порицал в некоторых вопросах самого Хрущева. Для судьи Коржикова критика Хрущева была равнозначна критике советского строя. И поскольку никаких доказательств того, что я „порочил” сам строй, а б с о л ю т н о н е т, — меня судят (и при этом дают семь лет!) за критику главы правительства.

Московский городской суд репрессировал также А.М.Иванова (Новогоднего), ссылаясь на утверждение КГБ, что „наиболее активными участниками этой группы („антисоветски настроенных лиц” — В.О.) являлись Бокштейн И.В., Осипов В.Н., Кузнецов Э.С. и Иванов А.М.” А между тем на самом деле не существует доказательств того, что Иванов А.М. где бы то ни было вел антисоветскую пропаганду. Положение Мосгорсуда было щекотливое: ему не хотелось оправдывать Иванова и одновременно нельзя было посадить его из-за полного отсутствия состава преступления. И суд нашел выход: он приговорил Иванова к принудительному лечению в спецбольнице. По меткой мысли великого русского писателя Солженицына, принудление нормального человека в больнице для идиотов есть „вариант газовой камеры”. Иванов, виновный только в том, что он изложил следствию свои синдикалистские взгляды, два года провел в кошмарных условиях среди дегенератов!

Итак, группа! Бокштейн, Осипов, Кузнецов, Иванов. Группа из четырех лиц. С Бокштейном я встречался всего дважды в общей компании, с ним лично никогда не беседовал, о его мировоззрении узнал только в тюрьме. Кузнецов знал его еще меньше. Бокштейн и Иванов не знали друг друга вообще. Хороша группа, где люди даже не перезнакомились, а ловкий следователь уже шьет сговор. Ведь нас судили не только по ст. 70, но и по ст. 72, что означает участие в антисоветской организации.

Нет устава, программы, нет элементарного согласия людей, нет самой мысли об организации, но суд не обременяет себя доказательствами, он штампует эту организацию, и притом, конечно, „антисовет-

скую". Наличие 72-й статьи, видно, необходимо было для успокоения совести: как же не дать семь лет, если у них даже — о р г а н и з а ц и я! Верховный суд РСФСР (при рассмотрении кассации) не решился утверждать столь очевидный абсурд и исключил 72-ю статью из приговора. Однако эта 72-я статья, как репейник, сопровождала нас по всем этапам...

В чем же обвиняют нас?

„В июле-сентябре 1961 года Осипов, Кузнецов, Иванов с целью активизации антисоветской агитации предпринимали практические шаги для изготовления листовок враждебного содержания, предназначенных для распространения среди населения”.

Мы „предпринимали практические шаги"! То есть листовок не изготавливали, а предпринимали шаги. Текст листовки в обвинительном заключении отсутствует, так как следователь Мальцев не догадался его придумать. Легко понять, что этого текста не было вообще. Не было листовок и даже предполагаемого текста листовки. Враждебное содержание чистого листа бумаги!

„Намереваясь в дальнейшем изготавливать листовки фотографическим способом или путем напечатания на пишущей машинке, Кузнецов принял участие в приобретении значительного количества фотобумаги, копировальной бумаги” (Обвинительное заключение).

„Принял участие"! То есть купил эту фотобумагу и хранил ее у себя другой человек, к ответственности не привлекавшийся. Но ведь „шьют" срок Кузнецову. Вот и взваливают на Кузнецова чужую фотобумагу. Весы справедливости, однако, колеблются. Тогда следователи обвинили нас еще и в том, что:

„Предлагая осветить с антисоветских позиций хулиган-

ские проявления, происшедшие в городах Муроме и Александрове, Кузнецов и Осипов выезжали туда в конце июля 1961 года для сбора материалов”.

Съездить в Муром предложил Сенчагов. Он уговорил Кузнецова, и они съездили на место происшествия в конце июня 1961 года. В Муроме действительно произошли „революционные” или „хулиганские” волнения. Эпитет, как всегда, зависит от политической позиции наблюдателя. Погром помещичьих усадеб, убийство царских служащих, захват военного броненосца — в левой печати все это хулиганством не называлось. Погром и поджог здания милиции в городе Муроме (а спустя месяц — и в Александрове) ни меня, ни Кузнецова в восторг не привели. Но в том, что многотысячная похоронная процессия, запрудившая весь Муром, состояла из одних хулиганов, — мы усомнились. Однако, как бы то ни было, никакой крамолы из событий в Муроме и Александрове мы не сотворили. Узнали, пришли в уныние от „неэстетичности” народных действий и сделали вывод, что самочинная народная революция была бы жутким кошмаром. Освещать и пропагандировать эту стихию никто из нас не собирался.

Больше того: никто из нас о так называемой революции вообще не мечтал. Мы считали существующий в СССР строй социально справедливым, мы даже признавали систему одной партии. Наши взгляды столь же мало отличались от взглядов советских руководителей, как, скажем, взгляды президента Тито. Советская конституция хороша — необходимо только ее неукоснительно соблюдать. Позднее, в лагере, я встретил рабочего из Курска — Владислава Ильякова. Ему дали семь лет за распространение листовок в защиту СКЮ. Настольной книгой Илья-

кова была работа Ленина „Государство и революция”. Надо признать, что и среди „маяковцев” эта книга Ленина пользовалась успехом. Мы радовались, что она не попала в список запрещенной литературы. Знатоки цитировали работу Маркса „Секретная дипломатия XVIII века”. Увы, эту работу мы достать не могли.

Таким образом, мы с Кузнецовым выступали с „антисоветскими” заявлениями (точнее — выступал я, а Кузнецов молчаливо-преступно соглашался), ездили в Муром (Сенчагов с Кузнецовым) и Александров (я с несколькими „маяковцами”), покупали фотобумагу якобы для „враждебных” листовок (точнее — покупал один из „маяковцев”, а мы были с этим человеком знакомы) — вот наш состав преступления.

Т-с-с-с... Я слышу из могилы голос покойного Полякова: „Вы забыли самое главное”. Нет, Сергей Михайлович, я не забыл: вы обвиняли меня и в том, что я

„...в августе-сентябре 1961 года, совместно со своими соучастниками, обсуждал возможность совершения террористического акта в отношении Главы Советского правительства”.

Начну с того, что после газетной заметки в январе 1969 года немало людей „обсуждало возможность” террористического акта у Боровицких ворот Кремля. В принципе обсуждать возможно все. Преступно совершать и готовиться к совершению политического убийства. Никто из нас не готовился к этому, и никто не мыслил террористических действий вообще. В своем кругу мы резко критиковали Хрущева за его (на наш взгляд) авантюристическую линию в вопросе о Западном Берлине. Мы не считали нуж-

ным начинать мировую войну из-за того, что Западный Берлин не входит в ГДР. Однако у нас и мысли не было совершать террористический акт в отношении Хрущева. Мы надеялись, что в ЦК КПСС достаточно здравомыслящих людей, способных в критическую минуту сместить Хрущева со всех постов и предотвратить мировую войну.

Мысль о террористическом акте принадлежала душевнобольному Р., которого мы считали провокатором. Все разговоры вокруг этого имели единственную цель — „разоблачить” провокатора. Но разве могли следователи упустить столь желанную строчку! При такой строчке в приговоре никто и не заметит, что состава преступления у приговоренных нет, что даже по статье 70 судить не за что.

Итак, я и Кузнецов юридически невиновны. Однако я знаю, что дело не в этом. Не за „антисоветскую пропаганду” нас судили, а за инакомыслие, за независимость и свободу мнений. Нас судили за „площадь Маяковского”. За митинг 14 апреля 1961 года. За встречи, дискуссии, за попытку обсуждать общественные вопросы.

Поэтому и были придуманы листовки враждебного содержания...

Антисоветская деятельность — блеф. А чем же мы занимались на самом деле? Весной 1961 года Галансков выпустил „Феникс”. Едва я вышел из милицейского подвала в конце апреля, как мне показали аккуратно, со вкусом оформленный сборник. Неоднократно в течение мая-августа мы выезжали за город и там возле речки обсуждали планы издания стихов машинописью и вопрос о создании клуба. Кстати, знаменитая ночь (на 9 июля) на квартире Иры Мотобривцевой была посвящена не антисовет-

ским выступлениям, а проблеме молодежного клуба. Следователи это знали, но „шить” нам срок за мечты о клубе не осмелились. Вот и стали наскребывать „антисоветские” словечки.

Помню вечер в Манеже, посвященный окончанию выставки самодеятельных художников. Унылые выступления ораторов наводили сон на публику. Художники, съехавшиеся со всего Союза, поглядывали на часы, скучали... Но в засаде стояли мы. Наша группа (человек восемь-десять) решила дать бой. Искусствовед, заранее подготовившийся, отделился от нас и попросил слова. Не ожидая подвоха, председатель разрешил. Наш оратор подверг разносу халтуру выставленных полотен, выделив лишь две картины, как раз те, которые предыдущие ораторы сочли долгом упрекнуть за нехорошую тенденцию, то есть за талантливость. Потом „наш” разошелся во всю: он открыто начал хвалить абстракционизм и формализм. В зале поднялся шум: „Не давать слова! Долой!” Другие кричали: „Пусть говорит, пусть разоблачит себя!” Его едва не согнали с трибуны. Вскоре среди взбаламученной публики появился милиционер и по кивку председателя из президиума приказал всем покинуть помещение. Долго еще мы стояли на улице у здания Манежа. Нашу группу окружила толпа сочувствующих, мы спорили, улыбались и обменивались адресами. Группа, возникшая после этого вечера, стала затем постоянно собираться и обсуждать вопросы эстетики.

На вечере в Доме культуры ЗИЛ, где обсуждали журнал „Юность” (сентябрь 1961 г.), с подробным разбором поэзии этого журнала выступил я. В одном углу зала стояли „наши”, в другом — у дверей — стояли, ловя каждое мое слово, сыщики. Теперь они не отставали от нас ни на шаг.

Разумеется, во всех наших публичных выступлениях на официальных собраниях не было ни грана „криминала”. Было б хоть на точку, следователи наши этого не упустили б. Наши выступления не были антисоветскими, но они были неконформистскими, свободными и критическими. Мы развернули свою деятельность довольно широко: в 1961 году трудно назвать вообще какое-либо мероприятие в Москве, посвященное литературе и искусству, на котором бы мы не присутствовали и на котором бы мы не выступали. Поэтому вполне понятна та настойчивость в поисках предлогов для ареста, которую проявили сотрудники госбезопасности.

Наконец предлог этот нашелся сам. В КГБ явился с „повинной” студент Института народного хозяйства им. Плеханова Вячеслав Константинович Сенчагов. Его вдохновил на донос друг и наставник Майданик, историк, автор „либеральной” работы о революции тридцатых годов в Испании. Сенчагов дал свои показания 5 октября 1961 года, и в тот же день прокурор г. Москвы подписал ордер на арест Осипова, Кузнецова, Иванова. Донос Сенчагова был клеветническим: он показал, что якобы Осипов, Иванов и другие готовят террористический акт. За полтора месяца до явки в КГБ Сенчагов заявил мне лично, что отходит от общественной деятельности вообще и посвящает себя исключительно науке. Но страх за свои „деяния” (впрочем, не антисоветские, как и у всех нас) не давал ему покоя, и он продолжал крутиться возле наших знакомых.

Однажды, гуляя с поэтом Щукиным по вечерней Москве, я сказал: „Вот жизнь. Вечер, покой, а завтра — очередная акция”. Я имел в виду какое-нибудь очередное выступление в клубе или ДК. Но Щукину

в слове „акция” почудилось нечто жуткое. Он собрал группу „маяковцев”, в которую пролез Сенчагов, и сказал: „Осипов что-то затевает”. Сенчагов, со своей стороны, вынюхал, что кто-то из моих знакомых упоминал о каком-то террористическом акте. Он стал убеждать собравшихся, что если Осипов сказал — „акция”, это значит — террористический акт. Все „маяковцы” (в том числе и я) отвергали всякое неконституционное действие, тем более столь варварское дело, как террор. Однако они поверили Сенчагову и Щукину, что Осипов — „экстремист”, и стали обсуждать возможность спасения России от „экстремизма” Осипова.

Сенчагов же решил просто донести. Он рассказал о террористических намерениях Осипова и Кузнецова и заявил сотрудникам КГБ, что среди „маяковцев” есть советские люди, слегка ошибающиеся, — это Иванов (Рахметов) с компанией, и экстремисты, мечтающие о насилии, — Осипов, Иванов (Новогодний). Таким разделением Сенчагов думал хотя бы частично успокоить совесть. Ведь выдал не всех, а только „экстремистов”... Причем не просто выдал, а оклеветал. А ведь он казался мне хорошим приятелем. Донос был „идейным”: эти „экстремисты” могут принести вред стране, а вот Сенчагов страну спасает. Знал бы этот подонок, в чем конкретно обвиняли нас?! Знал бы он, что „намотать” семь лет срока ему самому было бы столь же просто, как и нам! Я изворачивался, как мог, но всячески выгораживал Сенчагова (как и всех остальных) от обвинений. Только в конце следствия я узнал, что он — трус и предатель. Впрочем, это не изменило бы моих показаний. Я считаю неэтичным давать показания даже против стукача.

К вопросу о предателях. В Мордовских политлагерях было широко известно имя доносчика Гидони. Гидони освободился и стал делать карьеру. Мыто все его знали. А вот ребята из ленинградской „организации” ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа) этого не знали. Судьба свела Гидони с ними — и разоблаченный в лагерях предатель сумел вновь продать людей. Помню, как сокрушенно качали головами Леонид Бородин и Владимир Ивойлов.

Кстати, члены ВСХСОН листовок не распространяли, никакой агитации среди населения не вели, они всего лишь занимались самообразованием. Их подвела инерция исторических традиций: интеллигенты до мозга костей, люди слова, они вздумали свой кружок по самообразованию оформить организационно. Появились устав, программа, название... Поплатились они за эту бумажную „организацию” сурово: их вождь Игорь Огурцов получил пятнадцать лет лишения свободы (из них — семь лет тюремной камеры), Михаил Садо — тринадцать лет, литературовед Евгений Вагин и юрист Аверичкин — по восемь лет, специалист по Эфиопии Вячеслав Платонов — семь лет, директор школы Бородин и экономист Ивойлов — по шести лет, и так далее. Всего было осуждено около восемнадцати человек. За исключением двух-трех лиц, эти социал-христиане — люди редкой нравственной чистоты, беззаветной любви к Родине и той невыразимой „детскости”, которая всегда была свойственна лучшим сынам России. Особенным авторитетом среди всех пользовался Игорь Огурцов — семитолог по образованию, переводчик по профессии, русский патриот по своей рыцарской душе.

Что касается Гидони, последний „смог”, наконец, защитить кандидатскую диссертацию. Ныне он наставляет студентов Петрозаводского университета.

6 октября 1961 года в 8 часов утра в разных местах Москвы были арестованы В.Н.Осипов, Э.С.Кузнецов и А.М.Иванов. Одновременно были произведены обыски на квартирах Ю.Т.Галанскова, А.И.Иванова, В.К.Буковского. В.А.Хаустова. Двое последних, кроме того, на несколько часов были задержаны. Все трое были арестованы по делу Бокштейна. Таинственная нерусская фамилия создавала дополнительный антураж. Инкогнито в черных очках и с поднятым воротником? Увы, студент Библиотечно-го института Илья Вениаминович Бокштейн не был резидентом империалистических разведок. Этот низкорослый юноша многие годы детства и отрочества провел на больничной койке в парализованном состоянии (туберкулез позвоночника). Способный и эрудированный, Бокштейн, тем не менее, был абсолютно неприспособлен к жизни, он не знал, что такое осторожность, и первому встречному выкладывал свои задушевные мысли. „Первых встречных” оказалось два десятка дружинников и несколько трусов из „наших”. Они и постарались упечь Илью на пять лет в концлагерь. Илья отсидел свой срок достойно и мужественно. Бокштейн, завсегда-тай площади Маяковского, был арестован за два месяца до нашего ареста, в ночь с 5 на 6 августа, после того, как был задержан на самой площади и доставлен в отделение милиции. С нами он никак не был связан, но поскольку не „антисоветская” деятельность Осипова и Кузнецова интересовала сыщиков, а „площадь Маяковского” как таковая, то и были объединены вместе все четверо. Не судить же „площадь” порознь.

Допрос в КГБ — это немалая проверка человека. Ее с честью выдержали Виктор Хаустов, Ира Мотобрицева и ряд других. Вместе с тем было больно узнать о малодушном поведении некоторых.

Винцент Федоров! Неужто я и в самом деле называл „Октябрь” фашистским путчем?

Эрик Каплан! С тобой я разговаривал один раз в течение десяти минут, когда случайно встретил вас с Кузнецовым на улице Горького. И весь этот десятиминутный разговор ты подробно изложил следствию. Верно, что „рабочую оппозицию” я хвалил, но Троцкого я не терпел и тогда.

Владимир Жучков! С глазу на глаз мы говорили с тобой об исторических взглядах Гегеля. Разве я сравнивал китайскую деспотию с советским государством?

Постовалов! Когда-то мы с Галансковым и Ивановым (Рахметовым) уберегли тебя от ненависти соседей. Ты показал, что я критиковал партию. Критиковал не Хрущева, а КПСС вообще?

На первый взгляд кажется, что каждый из вас показал крупицу. Но, собранные воедино, эти крупицы дали „основание” судьям приговорить меня к семи годам лишения свободы.

Нас не пытали и даже не прибегали к угрозам. Следствие велось подчеркнуто корректно. Был взят метод мягкого обволакивания. Под напором других показаний тоже начинаешь показывать, правда, постоянно напоминая следователям: „О себе скажу все, о других ни слова”. Следователь записывает по-своему. В конце допроса перечитываешь протокол и удивляешься: вроде так и вроде не так. В разных местах следователь дает собственные формулировки, по-своему „дополняет”, „уточняет”, а кое-что

опускает. Обхождение дипломатично-вежливое, и поэтому становится неловко спорить „из-за пустяков”. В результате махнешь рукой и подписываешь эти „слегка” измененные показания. Век живи — век учись. Сейчас я не понимаю, зачем я вообще что-то подтверждал. Да пусть хоть двадцать человек показывают! Что это за культ множества? Смотришь потом: одного в „дурдом” отправили (то есть его показания недействительны), другой на суд не явился, третий отказался. И еще — эти „чистосердечные показания”.

В начале любого следствия следователь предупреждает допрашиваемого о смягчении участи за чистосердечное признание. Действительно, такая статья в кодексе существует. Но применяется она лишь в тех случаях, когда подсудимый покажет все, что знает, все, что хотят знать следователи, а это, как известно, сопряжено с нравственной гибелью. Их не перехитришь, они — профессионалы, их этому учили, и они достаточно разбираются, где человек говорит все и где он юлит. Многие же, отнюдь не расставаясь с моральными принципами, пытаются, однако, сделать вид, что дают „чистосердечные признания”. В результате все же показывают, становятся собственными палачами, сами себе „мотают” срок, а от их „чистосердечного признания” суду ни жарко ни холодно. В боксах Мосгорсуда все стены испещрены надписями: „Сознаться и умереть никогда не поздно”, „Признался и получил 10 лет”, „Чистосердечное признание — прямой путь в тюрьму”.

Во время следствия я говорил Полякову:

— Вы же всегда клеймите социал-реформистов как прямых пособников буржуазии. Мы тоже соци-

ал-реформисты в том смысле, что хотим произвести небольшие частичные реформы в структуре советской системы, Так что мы — прямые пособники коммунистической партии. Почему же вы сажаете нас?

Когда я прибыл на 17-й лагпункт, я познакомился с одним из членов „Союза патриотов России” (Лев Краснопевцев, Л.А.Рендель, Н.Г.Обушенков, М.Чешков, М.Семиненко, Меньшиков и другие осуждены Мосгорсудом в феврале 1958 года). Глядя сквозь проволоку вдаль, тот замечтался: „В сущности, Володя, советская система — это наша система”.

К этому добавлю, что больше половины из тех, кто прибывает в политлагеря, это — люди с типично советским мировоззрением. Правда, выходят из лагерей уже перевоспитавшиеся... Недаром концлагерь официально называется исправительно-трудовой колонией. Приходят атеистами, уходят — христианами. Исправились... Мне известен лишь один случай, когда после десяти лет заключения люди изменили свои взгляды в угодную для начальства сторону. Это — сам Л.Краснопевцев и его друг В.Меньшиков. В июне 1967 года (за два месяца до освобождения) в многотиражной газете для заключенных „За отличный труд” они опубликовали покаянные статьи.

Надо откровенно признать, что следователям удалось-таки убедить нас в том, что „объективно” мы наносим ущерб советскому государству. Сознать это было неприятно, и мы „помогали” следствию, вспоминая свои переживания. Слишком часто мы представляем государственный аппарат в виде личности, все понимающей и, в общем, доброй. А

ведь аппарат — это множество людей на разных ступенях лестницы. Никто за всех не думает. Твоя душа никому не нужна. Одних интересует твой „криминал“, других — твоё окружение, третьих — твоя изоляция.

Единственное в жизни, за что я краснею, единственное, чего я постоянно стыжусь, — это того, что я признал себя виновным. Спустя четыре года я отправил заявление на имя председателя Верховного суда СССР Горкина о том, что отказываюсь от всех своих показаний и не считаю себя виновным. На следствии же и на суде я помог и Полякову, и Коржикову, и прокурору Молочкову, обвинив сам себя. Мне было двадцать три года, за два года до процесса я был членом ВЛКСМ (по убеждению) и тут легко попал под гипноз рыночной терминологии: „враг“, „враждебный“, „капитализм“.

Н а ш — н е н а ш ! До каких пор мы будем сохранять враждебную ситуацию? Нобелевский лауреат Шолохов скорбел, что А.Д.Синявского и Ю.Даниэля не расстреляли, а всего лишь посадили за проволоку. А коммунистические партии Италии, Австрии, Великобритании ратуют за многопартийность при социализме и, естественно, за свободу всевозможным Синявским писать романы и повести о чем угодно. Почему же мы должны ощетиниваться из года в год, в то время как другие способны на терпимость и согласие?

Относительно КГБ. Мне бы не хотелось выглядеть необъективным. Хотя я посажен руками КГБ, но ни малейшей злобы к представителям этой организации я не питаю. В оправдание своих следователей напомним, что они, как и все советские граждане, продолжали находиться под психическим действием

сталинского колдовства. Перелистайте подшивку „Правды” за 1937-1940 годы. Из номера в номер — сообщения о вредителях, о проникновении их в парткомы, райкомы, обкомы. Например, на Харьковском тракторном заводе проходы между станками были слишком узкими; оказывается, это придумали враги народа с целью увеличения травм. И так во всем. Вредители, шпионы, враги... Немудрено после многих лет такой атмосферы видеть враждебный вымысел в любой инициативе, в любом самоchinном действии. Миллионы людей в буквальном смысле этого слова были психически больны. Истерия охватила всех. И я охотно верю, что мой следователь Поляков, болевший со всеми вместе, совершенно искренне полагал, что Осипов, одобряя рабочие советы, наносит вред государству. Самое грустное, что и Осипов на минуту поддался последствиям эпидемии, признав себя виновным в том, чего не было.

9 февраля 1962 года Московский городской суд (судья Коржиков, прокурор Молочков, адвокат Ситников, вскоре скончавшийся) приговорили Осипова и Кузнецова к семи годам лишения свободы, Бокштейна — к пяти годам.

Мы были приговорены к усиленному режиму. В лагерь (ст. Потьма, п/о Явас, п/я Ж Х385/17) прибыли в апреле 1962 года. Через месяц 28 мая 1962 года вышел секретный Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о двух видах режима для политзаключенных: строгом и особом. Общий режим и режим усиленный, таким образом, отменялись как слишком мягкие для злодеев. Год мы провели на строгом режиме. В июне 1963 года московский прокурор Алмазов потребовал Осипова, Кузнецова,

Бокштейна перевести на самый суровый режим — особый (режим для рецидивистов), мотивируя это тем, что их деятельность имела слишком широкие масштабы. 25 июня Мосгорсуд вынес нам дополнительный приговор — пребывание на особом режиме. Семь месяцев мы провели в спецлагере (десятом), возвращение из которого в обычный концлагерь мне показалось возвращением на свободу. Наш адвокат кое-как добился перевода нас хотя бы на строгий режим. О режиме усиленном, который значился в приговоре от 9 февраля 1962 года, никто не вспоминал. О том, что в СССР закон обратной силы не имеет, ни один судья не вспомнил.

В числе „преступлений” Кузнецова, за которые он страдал семь лет, значится его присутствие во время обсуждения „тезисов о расколе комсомола” и молчаливое согласие с ними. Эти тезисы составил и предложил обсудить В.Буковский. Обсуждение состоялось на квартире Ю.Галанскова в сентябре 1961 года. Все присутствовавшие (человек пять-шесть) тезисы Буковского одобрили. Одобрил их и Э.С.Кузнецов. Но ни самому Буковскому, ни другим присутствовавшим эти никому, кроме присутствовавших, не известные тезисы в вину не вменялись. У Кузнецова же они составили в приговоре целый абзац (всего было пять абзацев).

Поэтому при такой законности вполне объяснимо тайное разбирательство дела. Нас судили тайно. Ни родственники, ни друзья, никто из публики допущен в зал заседания не был. Суд даже не потрудился объявить характер судопроизводства (гласный или негласный). На некоторых заседаниях свидетели, дав показания, могли не покидать зал, а оставаться до перерыва. Даже перед объявлением при-

говора наших родственников, друзей и знакомых пытались не пропустить в зал. Только настойчивость известного юриста-общественника А.С.Вольпина, державшего раскрытой статью УК, помогла преодолеть самоуправство вершителей.

Важнейший принцип советского законодательства — принцип гласности судопроизводства — был попран! И после этого нас, а не Молочковых и Коржиковых, упрекают в нарушении законности. В печати о нашем суде не появилось ни строчки. Правда, за две недели до суда, 14 января 1962 года „Комсомольская правда“ опубликовала фельетон А.Елкина „Кубарем с парнаса“. В этом фельетоне среди десятка фамилий упоминается И.Бокштейн, но о том, что он арестован и находится на Лубянке, — ни слова.

Шильонский узник, воспетый Байроном, отсидел шесть лет. Мы с Кузнецовым — на год больше. Что такое исправительно-трудовая колония для политзаключенных, — достаточно ясно описал в своей книге Анатолий Марченко. Лично меня исправительная колония действительно исправила. В прошлом я был материалистом, социалистом и утопистом. Лагерь сделал меня человеком, верующим в Бога, в Россию, в наследство прадедов. Хотел этого судья Коржиков или не хотел, — я не знаю. В лагере пришлось по-новому взглянуть на роль Джугашвили. Он прекратил антипатриотический и антицерковный шабаш троцкистов, загасил русофобию Покровского, не жалевшего в своей ненависти ничего святого. Впрочем, весы, на которых взвешают дела Сталина, колеблясь, встанут под острым углом. Ибо во всем прочем Сталин — двойник Троцкого.

К сожалению, не в одном Сталине и его приспеш-

никах таится зло. Страшнее Сталиных многоликий беспринципный обыватель. Тот, чья хата всегда с краю, но который, однако, рычит всегда по ветру. „Да будь моя воля, я бы всех вас перестрелял!” — с дикой и непонятной злобой говорит мне этот „простой мужичок”! Напоминаешь ему о мероприятиях Хрущева в отношении личного хозяйства, — тут он замолкает. „Но зато валютчиков надо перестрелять”. Мне самому были противны валютчики, но закон должен быть важнее чьих бы то ни было эмоций. Меня этот мужичок готов расстрелять за то, что я — „против власти”, а сам он то и дело ворует у государства. Найдется другой обыватель, который скажет: — этих воров, что с завода тянут, всех бы перестрелять! Но осуждающий воров сам берет взятки. И некто третий захочет перестрелять взяточников, и так далее и так далее...

Лет десять-пятнадцать назад была шумная кампания против „стиляг”. Этим словом называли всех тех, кто со вкусом одевался. Символом „стиляжничества” были узкие брюки. Ношение их порицалось. Как шумели против узкобрючников обыватели, сколько ярости было в их высоконравственном негодовании! И вот теперь девушки и женщины стали носить мини-юбки. Казалось бы, короткие юбки куда безнравственнее узких брюк. Но поскольку эти юбки официально санкционированы, обыватель молчит. Не брызжет пеной с трибун, не малюет наглядных стендов, не строчит в газеты.

Грош цена твоему „мнению”, многоликая мразь! Впрочем, если есть надежда на цикличность в истории, будем надеяться на угасание ненависти. Скажем, лично я уже добился успеха — не питаю никакой злобы к своим мучителям. Осужден невинно, от-

страдал (слово банальное и сентиментальное, но для концлагеря, увы, точное) ни за что семь лет и все же верю в перевоспитание меднолобых.

Что касается площади Маяковского как клуба под открытым небом, этот клуб был рассеян дружинниками через несколько недель после нашего ареста. К концу 1961 года встречи у памятника Маяковскому прекратились. Спустя несколько лет эстафету „маяковцев” подхватили „конституционалисты”, избравшие местом для своих встреч памятник Пушкину.

В завершение я выражаю надежду, что когда *Игорь Огурцов, Юрий Галансков, Леонид Бородин, Валерий Ронкин, Вячеслав Платонов, Александр Гинзбург, Владимир Ивойлов, Сергей Хахаев, Андрей Синявский, Николай Драгош, Валерий Зайцев, Михаил Садо, Евгений Вагин, Яков Берг, Вячеслав Айдов, Борис Аверичкин, Юрий Машков, Сергей Ханженков, Николай Тарнавский, Владимир Гоцкевич, Зиновий Троицкий* выйдут на свободу, они, подобно мне, расскажут, за что и как судили их.

Август 1970 г.

БЕРДЯЕВСКИЙ КРУЖОК В ЛЕНИНГРАДЕ

2 февраля 1964 года в СССР возникла новая политическая организация. Она состояла из четырех человек. Четыре питомца Ленинградского университета — Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин — провозгласили создание ВСХСОН. Своей отдаленной целью учредители ВСХСОН наметили установление *персоналистического* строя, который, по их мнению, должен был избежать пороков капитализма и коммунизма. Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа отвергал повседневную политическую борьбу и ставил перед своими членами только две задачи — рост численности организации и самообразование. Цель — установление персонализма — ВСХСОН-овцы предвидели в тумане 15-20 грядущих лет.

Летом 1964 года организация пополнилась пятым членом: им стал Устинович, окончивший вместе с Огурцовым восточный факультет ЛГУ. Осенью вступил инженер Миклашевич, в декабре — Бочева-ров. Последний был сыном видного болгарского коммуниста, приговоренного фашистским судом к смертной казни. Отец сумел вырваться из тоталитарной Болгарии в Советский Союз. Здесь приговор фашистского суда привел в исполнение Сталин. Боचे-

„Посев” № 11, 1972 г.

варов-старший был казнен как „враг народа”. В январе 1965 года членом ВСХСОН стал химик Ивлев, в апреле — востоковед Платонов, в мае — поэт Коносов, в октябре — Ивойлов и Бородин. В уставе организации возникла идея „троек”. Каждая тройка должна была состоять из командира, идеолога и контрразведчика. Наряду с тройками существовал особый взвод контрразведки в составе Бородина, Бочеварова, Гончарова и Козичева. В уставе ВСХСОН предусматривалось, что каждый член организации должен вовлечь не менее 1 человека. Во исполнение этого Устинович в мае 1965 года вовлек Константинова, Миклашевич — своего сослуживца Бузина. В 1966 году Коносов вовлек Баранова, а также своего двоюродного брата Нагорного.

В ноябре 1966 года вместе с Нагорным Коносов по рекомендации Нагорного принял будущего предателя Петрова. Коносов же принял Зобака и Шувалова.

Член Союза Леонид Иванович Бородин (род. в 1938 г.) пользовался безраздельной любовью учеников Серебрянской средней школы (Лужский район Ленинградской области), директором и преподавателем которой он был.

Тактичный и доброжелательный, Бородин погасил внутренние конфликты среди преподавателей, увлекал коллективы своим энтузиазмом и трудолюбием. И никто не подозревал, что в голове бюста Ленина, в школьном зале, директор хранил документы ВСХСОН. Бородин вовлек Козичева, затем — Гончарова и в мае 1966 года — литовца Иовайшу. Друг Бородина — экономист Владимир Ивойлов — вовлек в организацию своего коллегу Веретеннова. Ивлев принял филолога Сударева. В июне 1966 года

в ВСХСОН вступил искусствовед Николай Иванов, вовлекший вслед за собой (июнь) студента Театрального института Шестакова.

Таким образом, к февралю 1967 года в рядах Всероссийского социал-христианского союза находилось 28 человек (включая предателя Петрова)[†]. Было подготовлено для приема в ВСХСОН 30 человек. Органы КГБ первоначально возбуждали уголовное дело против 30 кандидатов в члены ВСХСОН за недоносительство, но в январе 1968 года все же одумались. Кандидатами в члены Союза были: студент истфака Абрамов, смотритель музея в Соловках Осипович, переводчик Балоян, сын ленинградского вице-адмирала Кулаков, экономист Елькин, аспирант ЛГУ Паевский, студент-экономист ЛГУ Андреев, внук министра двора при Николае II Фредерикс, аспирант Лисин, учитель Онуфриев, слесарь Статеев, студент Якимов и другие. За 3 года существования организации было создано 3 взвода. Помимо троек, которые были вначале, возник взвод Коносова из 8 человек, который должен был расшириться до 12.

Взвод Ивойлова состоял из Козичева, Ивлева и Сударева. Взвод Бочеварова (Платонов, Константинов, Клочков) позже был расформирован. Действовал также идеологический отдел Вагина (Платонов и Иванов).

Службу контрразведки возглавлял Садо. Как заместитель главы ВСХСОН, Садо ведал также личным составом организации. Через него прошли все вступающие. Если Вагин возглавил идеологический отдел, а Садо ведал безопасностью организации, то

[†] Плюс Клочков и Фахрутдинов. М.Садо также говорит о 28-ми (см. „Посев“ № 3/1971). — Р е д.

Борис Аверичкин был хранителем всех документов ВСХСОН. Один Огурцов знал Аверичкина.

Руководителем подпольного Союза был Игорь Вячеславович Огурцов, работавший старшим техником ЦНИИ информации и технико-экономических исследований, родившийся 22 августа 1937 года в Сталинграде, но все сознательные годы проживший в Ленинграде. Его отец — морской офицер. Мать — Деревенскова Евгения Михайловна — пианистка. Игорь Огурцов — личность исключительная, необыкновенная. Он с детства закалял волю, был беспощаден к своим слабостям, вел аскетический образ жизни, не курил, не прикасался к вину, спал почти на досках. Огромная сила воли, большой ум, зрелость, владение несколькими иностранными языками, способности к писательскому делу, отличное знание музыки и при этом нравственная чистота, чуткость к окружающим — все это резко выделяло Огурцова всюду: дома, на работе, в организации. Будучи вегетарианцем, Огурцов не ел мяса, отказывался от всего, что напоминало о роскоши. И одновременно вытаскивал пьяниц из канав, никогда не проходил мимо нищих, переживал при виде несчастных. Огурцов был христианин и убежденный патриот России. На его мировоззрение, равно как и на взгляды остальных ВСХСОН-овцев оказал решающее влияние великий русский мыслитель Николай Александрович Бердяев.

ВСХСОН-овцы считали себя персоналистами. В идеологии превалировала „русская идея” Бердяева. Большинство работ философа организация приобрела. Была поставлена задача — в каждом взводе иметь библиотечку для работы с кандидатами. К 50-летию советской власти Огурцов намечал выпуск

листовок в Ленинграде под заглавием „50 лозунгов освобождения”. Вынесли из типографии 40 кг шрифта, нашли неисправный печатный станок, который хотели наладить. Это был единственный случай, когда Социал-христианский союз приступил было к конкретным действиям. Но и в этот раз все осталось только в намерениях.

По советским законам, создание нелегальной политической организации, даже если эта организация практически бездействовала, карается лишением свободы на срок до 7 лет по двум статьям: 70, ч.1 и 72 УК РСФСР.

Организационное оформление ВСХСОН с его архивом (устав, программа, наставление по конспирации), а также с его красочной терминологией („коммунистическое рабство” и т.д.) — увы — самая благодатная находка для кагебистов. Во-первых, совершенно очевидно, что *практически* организация никакого ущерба безопасности государства *не* нанесла. Зато, во-вторых, раскрытие такой „организации” с ее ярким лексиконом увеличивает престиж КГБ в глазах правительства. Не зря едят масло. И, наконец, в-третьих, воинственные намерения членов организации („свержение вооруженным путем коммунистического рабства”), хотя и спроектированы лет на 20 вперед, дают предлогу начальству становиться в позу добролюбов. Мы-то гуманные, а вот подпольщики-де хотят крови... К власти рвутся фанатики. И невдомек иным, что „кровожадные фанатики” решились на этот словесный экстремизм не из-за властолюбия (через 20-то лет!), а только из-за своей ранимости. Ранимости к чужой беде, сочувствия к чужому горю. Платонов, объясняя причины вступления в ВСХСОН, сказал: „Мне было невыносимо горько

видеть, как народ топит свое горе в вине, как царит разврат и несправедливость”. На других огромное впечатление произвела картина беззаконий во время культа личности и попрание человеческих прав в „период волюнтаризма”. Многие были возмущены лицемерием и шкурничеством коммунистов из ближайшего окружения. Бочеваров один из всех имел разногласия с организацией, пытался перевести ее на рельсы легальности, но столкнулся с отказом Огурцова и Садо, а также с отсутствием легальных возможностей, и остался в ее рядах. Бочеваров — наглядный образец того, как оппозиция, стремящаяся действовать *легально*, используя законные средства, вынуждена уходить в подполье. У нас с равной жестокостью карают как за подпольную деятельность, так и за открытую, легальную. Ближайший пример тому — дело Буковского. До тех пор, пока не будет дана возможность умеренным инакомыслящим действовать публично, неизбежно будут возникать самые радикальные намерения в подполье.

А между тем, экстремизм не только не в интересах советского режима, он также не в интересах нации и России. Народная революция вообще нежелательна. Нравственное состояние народа теперь значительно *ниже*, чем даже в период гражданской смуты. Поэтому кошмар народного бунта превзошел бы самые жуткие картины 1917-1922 годов.

Наконец, если мои доводы неубедительны принципиально, я обращаю внимание также на то, что никакая подпольная партия в СССР практически невозможна.

Она невозможна по причине огромной сети тайных агентов и вездесущего страха, этой заразной болезни века. За 30 последних лет не было подполь-

ных организаций крупнее ВСХСОН количественно, и та была раскрыта довольно быстро. Из нелегальных групп 50-х годов две более крупные — Трофимова в Ленинграде и Краснопевцева-Ренделя в Москве не превышали 10 человек. Впрочем, экстремизм, проявлявшийся даже небольшими группами или одиночками, мог доставить властям немало неприятностей. В нашем народном сознании силен мотив подражания. У нас, как нигде, опасны цепные реакции. Стоит до чего-то додуматься одному, и — пошла писать губерния. Вспомните хотя бы народные мятежи в начале 60-х годов, поджоги административных зданий (в особенности, зданий милиции) и избиения чиновников. Ненароком случилось в одном месте и, как пламя, перекинулось на несколько городов.

Поэтому в интересах самого же советского режима — воспитание в народе уважения к закону и правопорядку. Наш простолюдин возмущается двуличием, лицемерием наших лозунгов: „Написано одно. На деле — другое”. Прежде всего это относится к советской Конституции, ряд статей которой попросту не замечают, словно их нет. Пусть подражают у нас действиям, основанным на легальности и законности. Зато отвыкнули от разгула и ухарства, не знающего границ.

Вернемся к ВСХСОН. Четыре основателя организации — Огурцов, Садо, Вагин, Аверичкин — были осуждены не по 70 и 72 статьям, а по статье 64-й[†]. Это — вопиющая несправедливость. В „измене Родине”, даже если под „Родиной” понимать только режим, четверо осужденных не виновны. „Антисо-

[†]По всем трем статьям, согласно „Хронике” №№ 1 и 19. — Р е д.

ветская организация”, — допустим, да. „Измена Родине, заговор...” — нет, тысячу раз нет! Заговора на деле не было. Судят не за бумажки, в которых начертаны планы на 20 лет вперед. Судят за дело, за конкретное дело. А заговора с целью захвата власти, в чем обвинены Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин, *на деле* не было и в помине. Не говоря о том, что эти гуманитарии никаких связей с генералитетом не имели, они не сделали и полушага к заговору. Наконец, ВСХСОН был организацией, абсолютно не связанной с западными разведками, — такая связь показалась бы всем ВСХСОН-овцам чудовищной.

Нужно быть ослами, чтобы патриотов, столь ранимых ко всему русскому, обвинить в измене!

В пользу государства Бутан?

И тем не менее — „измена Родине”. Очевидно, статья была предъявлена исключительно ради увеличения срока наказания. Это второй известный мне случай, когда за действия по 70 и 72 статьям предъявляют статью 64. В 1963 году в Риге судили группу молодых латышских националистов, у которых в программе был пункт о создании балтийской федерации, независимой от СССР. Молодых интеллигентов также обвинили в измене Родине: они-де хотели отторгнуть Латвию от СССР. Чем отторгнуть? Авто-ручками?

Основная деятельность ленинградских персоналистов свелась к поискам и размножению книг. „Техника государственного переворота” Малапарте, „Бегство из советского ада” и „Потерянные” братьев Солоневичей, „Новый класс” Джиласа, „История Советской России” Рауха и „13 дней, которые потрясли Кремль” Мераи, — эти 6 книг, которыми обладала организация, были отправлены на экспертизу в

Москву и там признаны безусловно антисоветскими. По остальной литературе экспертиза давалась ленинградским УКГБ. Была дана рецензия на программу ВСХСОН. Рецензировали ее профессора ЛГУ Чагин, Кон, Тюльпанов и кто-то еще: „Текстуальных заимствований из западных источников в программе не обнаружено”.

Тюльпанов писал об утопичности третьего пути между капитализмом и социализмом.

Программа ВСХСОН предусматривала денационализацию 2/3 промышленности с передачей предприятий в собственность рабочих на правах акционеров. Это и есть персонализация собственности. 1/3 предприятий (в том числе военная промышленность) сохранялась в собственности государства. В сельском хозяйстве: добровольный роспуск колхозов и совхозов — также с целью персонализации собственности. Каждый гражданин обеспечивался наделом земли из государственного фонда. Политический строй должен был стать беспартийным. Никаких партий вообще! Но свобода печати должна быть как в профсоюзной, так и в любой прессе. Верховным органом власти провозглашался Всероссийский Верховный Собор, в котором не менее 1/3 мест предполагалось закрепить за духовенством. Вопрос о главе страны остался открытым. Православие — государственная религия.

Членом ВСХСОН несколько месяцев (1965 год) был преподаватель ЛГУ Ильяс Фахрутдинов. Он добровольно вышел из организации, разуверившись в ее целях, и по этой причине не был привлечен к ответственности, пройдя на суде как свидетель, хотя за время своего пребывания в организации он напечатал „антисоветских” материалов больше, чем не-

которые из осужденных †. Именно он познакомил Огурцова с полезными иностранцами (Мариан Гур, мадам Львова).

Огурцова огорчал медленный рост численности (в год — по 10 человек). Ряд лиц (Сударев, Миклашевич, Бузин) хотели выйти из организации, но опасались презрения. Членские взносы составляли 10% от зарплаты. Имелось около 15 пишущих машинок, фотоувеличители, более 10 фотоаппаратов.

Мне, как издателю журнала „Вече”, обладающему двумя потрепанными машинками, конечно, весьма кстати пришлись бы такие материальные ресурсы, как у ВСХСОН. Организация неизбежно горит, но у нее два несомненных плюса — материальная база и дисциплина. Последняя особенно важна в свете нашей традиционной лени. Лень — мать всех пороков. Беззаконие и несправедливость, ущемление прав человека — все держится на почве лени. Нет охоты русскому человеку шевельнуть пальцем и он скорее смолчит и стерпит, лишь бы не действовать.

Мы достигали высот благодаря приказу и дисциплине. Прикажут — горы свернем. А пока сидим на печи и ждем лидера.

Среди вещественных доказательств фигурировал один ржавый пистолет образца 1898 года. На этой ржавой основе сотрудники КГБ во всех отчетах и телеграммах о производстве обысков по разным городам страны ставили грозную фразу: „В организации имелось оружие!” То же самое повторяли и в различных закрытых лекциях и информациях, проведенных в ряде вузов Ленинграда.

Абсолютно все факты — по материалам следствия и суда. — В. О.

Хотя фраза о „вооруженном свержении коммунистического рабства” стояла в программе, уставе и наставлений ПК (по конспирации — Р е д.), практически ничего в этом направлении не делалось и не мыслилось. Фраза должна была придать „героический” смысл повседневной черновой работе. Огурцов надеялся, что когда у русского человека есть крупная цель, он будет деятелен и активен. Изменить сознание людей с помощью немарксистской литературы — в этом, а не в фантастическом „заговоре” — заключалась подлинная цель Огурцова. Все практические дела ленинградцев сводились к чтению и перепечатке книг.

Члены ВСХСОН приобрели и перевели с иностранных языков политическую, философскую и религиозную литературу, размножали ее машинописью, фотоспособом, перепечатыванием и конспектированием. Вагин, например, обвинен в том, что переписал для организации работы Бердяева „В защиту духовной свободы”, „Неогуманизм, марксизм и духовные ценности”, „Христианство и опасность атеистического материализма”. В 1964 году Огурцов и Садо пересняли книгу Бердяева „Новое средневековье”. В 1965-1966 гг. Огурцов и Садо через Ивойлова передали Бородину для размножения фото пленки со снятыми на них текстами книг „Опыт эсхатологической метафизики” Бердяева, „История Советской России” Рауха. Михаил Садо внес в организацию, помимо книги Джиласа, „Историю России” Кларксона и „Христианин в революции” Федотова. В январе 1967 года Вагин на деньги организации приобрел для ВСХСОН „Дело Корнилова” А. Керенского и мемуары генералов Белой армии „Деникин, Юденич, Врангель”. Персоналисты наметили основать печатные органы Союза — журнал и бюллетень.

У Огурцова была связь с гражданином Польской Народной Республики Завадским (родственником государственного деятеля), от которого была получена изданная на Западе литература, а ему передана фото пленка с книгой Гинзбург „Крутой маршрут”. В январе 1967 года Вагин вручил француженке Львовой для передачи представителю русской эмиграции Н.Струве программу ВСХСОН, снятую на фото пленку Михаилом Садо.

Взводы и батальоны существовали символически и преследовали цели дисциплины, а не пресловутого заговора. Кроме того, эти „воинские единицы” облегчали сбор членских взносов. Наконец, самую идею переворота Огурцов связывал исключительно с возможным рецидивом культа личности в СССР. Надо отметить, что страх перед новым 1937 годом до сих пор силен у нашей интеллигенции. А вдруг в одно „прекрасное” утро все будут арестованы? Ведь многое зависит, увы, от личных качеств того или иного секретаря. Будет он добрее и гуманнее — и стране легче.

Социал-христианский союз пытался провалить Александр Гидони, преподаватель Петрозаводского университета. Провокатором он стал после забастовки политзаключенных (он отбывал срок за ревизионизм) на 7 лагпункте Дубровлага (Мордовская АССР). Было это в конце 50-х годов. Участники забастовки получили новые сроки, а Гидони, один из руководителей, был вскоре досрочно освобожден. Когда я прибыл в Дубровлаг весной 1962 года, все говорили о предательстве Гидони. А доверчивые персоналисты подкупились на его рассказы: болтать он мог. Однако Гидони не смог доказать кагебистам факт наличия организации.

Провал произошел во взводе Коносова. Владимир Федорович Петров, сотрудник Ленинградского государственного института оптики (ГОИ), в заявлении от 4 февраля 1967 года на имя председателя УКГБ по Ленинградской области генерал-майора Шумилова донес о существовании ВСХСОН, о своем членстве в организации и назвал тех, кого знал. Предателем были названы Коносов, Нагорный, Шувалов и Зобак.

После этого Зобак был задержан на улице (5 февраля) с программой ВСХСОН в кармане и арестован. Программа явилась вещественным доказательством для ареста остальных названных Петровым лиц. 6-7 февраля Коносов, Шувалов и Нагорный были также арестованы. Коносов, этот „неприкаянный певец белого движения“, на первом допросе отрицал факт наличия организации и свое участие в ней. На следующий день, 8 февраля, ему были предъявлены показания Нагорного, в которых тот „чистосердечно“ рассказал все. Припертый показаниями двоюродного брата, программой, обнаруженной у Зобака, а также обещаниями следователя Капустина применить к нему принудительное лечение, Коносов признал свое участие в организации, факт ее наличия и назвал своего непосредственного командира — Огурцова. Коносов сообщил адрес Огурцова, а также назвал Садо, Вагина и дал их адреса.

15 февраля 1967 года были арестованы четыре основателя ВСХСОН — Огурцов, Садо, Вагин и Аверичкин. Последний был обнаружен из-за того, что на его квартиру невольно навел чекистов сам Огурцов. Узнав об арестах, Огурцов, видимо, отправился к архивариусу организации, чтобы отнести компрометирующие материалы. „Хвоста“ за собой он не заме-

тил. Будучи арестован, Б.А.Аверичкин, студент 5 курса юридического факультета ЛГУ, немедленно расшифровал зашифрованный им же список всех участников организации с их адресами, местами работы и т. д. Гнусную роль сыграла также жена Коносова — Людмила, — которая „позабыла” хотя бы позвонить Вагиным и предупредить об арестах.

17 февраля последовали аресты остальных.

32-летний Михаил Юханович Садо, ассириец по национальности, пламенный русский патриот по духу, будучи арестован, в течение полумесяца отрицал факт наличия организации и свое участие в ней. Когда ему предъявили показания остальных против него, отрицал их подлинность. По поводу изъятой у него программы ВСХСОН Садо заявил, что составил ее сам с намерением в будущем опубликовать, и продолжал отрицать наличие организации. Но в начале марта, блокированный уликами, был вынужден сознаться и он. Огурцов и Вагин первые дни также отрицали наличие Союза и свое участие в нем. Но, будучи ознакомлены с обилием показаний остальных участников против руководителей, сознались и они.

Отдельные ВСХСОН-овцы, оказавшись в тюрьме, вели себя малодушно. Раскаяться лично и рассказать о самом себе, не касаясь других — это, в конце концов, личное дело каждого. Но обстоятельно обмусоливать „преступления” товарищей — тогда зачем принимать клятву? Конечно, поведение некоторых ВСХСОН-овцев на следствии не хуже поведения декабристов или петрашевцев. Перелистайте показания Трубецких и Рылеевых — кошмар! Видимо, в обоих случаях люди взяли на плечи чрезмерно большую тяжесть. Ноша оказалась не под силу и — полились „чистосердечные” признания. Я сам хорошо

помню страх, который испытал на Лубянке в октябре 1961 года. Резкий, неожиданный (арест всегда „неожиданный“) поворот судьбы на 180⁰, мысль о грядущем семилетии ужаса, а быть может, и хуже, если дерьмо Сенчагов[†] убедит чекистов, что мы согласились убить Хрущева... Представьте теперь разьединенных по камерам ВСХСОН-овцев, этих честных ребят, которых обвиняют едва ли не в военном перевороте!

Нельзя брать на спину грузовик. Нет железных людей — не надо и железных организаций. Человека топят не море, а лужа. Не дело, а фраза. В отличие от большинства ВСХСОН-овцев, Игорь Вячеславович Огурцов проявил беспрецедентное мужество и стойкость. Я не знаю человека, равного ему по своим личным качествам. Но, к глубокому сожалению, Огурцов в своих показаниях на следствии представил дело настолько серьезным, каким оно не мыслилось никем из участников. Следователь Капустин, который сначала вел дело, говорил: „Лет пять Огурцов получит...“

После показаний Огурцова поведение чекистов резко изменилось. Начальник следственного отдела Сыщиков срочно доложил в Москву о серьезности раскрытой организации. Москва сменила Капустина, назначив следователя по особо важным делам Мовчана.

Игорь Вячеславович Огурцов не признал себя изменником Родины и защищал на суде программу организации. Михаил Садо тоже не признал себя измен-

[†]Сенчагов давал показания против В.Осипова, Э.Кузнецова и А.М.Иванова (Новогоднего) 5.10.61 (см. „Площадь Маяковского, статья 70-я“) — Р е д.

ником, но в отличие от Огурцова заявил, что организация катилась к развалу и к моменту ареста практически не существовала. Вагин и Аверичкин признали вину в измене Родине и раскаялись.

Суд над четверьмя по 64 ст. длился около 10 дней. Приговор был зачитан 2-3 декабря 1967 года.

Приговор: Огурцову — 15 лет заключения, из них 7 лет тюрьмы, и 5 лет ссылки. Садо — 13 лет заключения, из них 3 года тюрьмы. Вагину и Аверичкину — по 8 лет.

17 рядовых членов ВСХСОН судили позже. Суд над 17-ю начался 14 марта. Нераскаявшийся вождь Огурцов не был допущен свидетелем, чтобы не оказать „вредного” влияния на остальных. Садо защищал подсудимых, продолжал утверждать, что организация катилась к развалу и требовал освободить всех обвиняемых, так как они уже пересидели под следствием. При появлении Садо в зале суда все 17 встали, приветствуя одного из своих лидеров. Перед вызовом свидетеля Вагина судья Исакова недовольно бросила: „Что, опять будете вставать?” Тем не менее и перед Вагиным многие привстали.

4-5 апреля Ленинградский городской суд определил наказания членам Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа:

Платонов — 7 лет лишения свободы;

Бородин, Ивойлов, Иванов — 6 лет;

Устинович — 3 года 6 месяцев;

Миклашевич, Бузин, Нагорный, Баранов — 3 года;

Бочеваров, Веретенков — 2 года 6 месяцев;

Сударев, Ивлев — 2 года;

Зобак, Шувалов — 1 год;

Константинов — 14 месяцев лишения свободы.

За отбытием наказания (в следственной тюрьме)

осужденные Шувалов, Зобак и Константинов были освобождены из-под стражи.

В ВСХСОН не все были верующими.

Православными были: Огурцов, Садо, Вагин, Коносов, Бородин, Ивойлов, Иванов, Баранов. Остальные — либо атеисты, либо колеблющиеся. Ярым атеистом был один Петров, который при вступлении воскликнул: „На черта мне нужен ваш Бог!”

Обыски по делу ВСХСОН производились в Ленинграде, Иркутске, Томске, Шяуляе (Литва), Волгограде, на острове Валаам (Карельская АССР), в Москве.

Социал-христианский союз не просто политическая организация. Это своего рода братство, землячество. Соединились христиане и патриоты, словно оберегая тепло идей от мрака и холода равнодушных. „Только в организации я почувствовал себя человеком!” — воскликнул на суде Вячеслав Платонов. Представьте эгоизм и расчетливость вокруг, продажность, трусость, а вопреки этому — союз бессребреников, идейных и совестливых.

Провозглашение, хотя и чисто словесное, борьбы с советским режимом — есть глубокое заблуждение. Установка ВСХСОН на переворот вредна в любом ракурсе. Борьба с отдельными злоупотреблениями властей, легальные выступления в защиту советской Конституции от ее чиновных противников — вот что должно стать главным в деятельности сегодняшних протестантов. Необходимо в рамках режима завоевать право на существование лояльной оппозиции. Поэтому какие бы то ни было попытки создания нелегальных организаций нежелательны. Не раздор, а единодушие в главном. Администрации же пора отказаться от понятий „враг”, „отщепенец”, „преступ-

ник”. Пора прислушаться к голосу патриотов. К критике тех, кто болеет за Родину. В своем отрицании режима члены ВСХСОН ошибались.

В своей боли за Родину и любви к ближнему бердяевцы несомненно правы.

В настоящее время освободились из политического заключения в Мордовии: Сударев, Ивлев, Веретеннов, Бочеваров, Миклашевич, Бузин, Устинович, Коносов.

В Ленинграде проживает один Сударев. Он работает переводчиком технической литературы на Ленинградском машиностроительном заводе им. Ленина. Ивлев живет на ст. Жихарево Ленинградской области, работает инженером-информатором в Обуховском домостроительном комбинате. Веретеннов — грузчик в г. Невель Псковской области. Бочеваров живет в Луге, работает полировщиком на мебельной фабрике. Миклашевич живет на ст. Толмачево, работает ведущим инженером в КБ завода железобетонных изделий. Бузин — механик гаража Ленинградского завода подъемно-транспортного оборудования им. Кирова. Устинович живет в Луге, трудится в Лужском телевизионном ателье. Коносов работает грузчиком в совхозе Шушары (под Ленинградом). Лица, имеющие гуманитарное образование (Бочеваров, Коносов), не были приняты на работу по специальности.

Вагин, Аверичкин, Ивойлов отбывают срок на 19 лаготделении Дубровлага (Мордовская АССР, станция Потьма). Литературовед Евгений Александрович Вагин *не* посещает политзанятий, что в условиях лагеря требует известной стойкости. Садо и Плато-

нов находятся на 3 л/о, Николай Иванов — на 17-а. Бородин переведен из лагеря во Владимирскую тюрьму, где с 1968 года отбывает срок И.В.Огурцов.

Администрация тюрьмы подвергает Огурцова репрессиям и травле. В конце декабря 1970 года его избил уголовник, сосед по камере. Огурцов выдержал несколько голодовок. В 1971 году произошла еще какая-то беда с ним, но что именно — начальство скрывает.

Освободившийся из заключения Юрий Баранов 21 февраля 1970 года неожиданно умер. Он похоронен в городе Чехове.

В освещении дела ВСХСОН я был, конечно, субъективен и пристрастен.

Январь 1972 г.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ

Геннадий Т., оттянувший срок с мая 1945 по сентябрь 1968 г., рассказал мне, как в одном из колымских лагерей правил всесильный Кутенок. Окружив себя пятью-семью ворами, расставив их на ключевые посты зоны (столовая, каптерка, хлеборезка, нарядная и т.п.), этот бандит установил беспощадную диктатуру и распоряжался жизнями двух тысяч зэков. Начальству, конечно, он был выгоден. Кутенка боялись больше, чем уполномоченного МГБ. Диктатор имел собственную разведку со стукачами в любом бараке. Малейшее слово против режима Кутенка — и смельчака-заключенного ждала быстрая расправа. Мокрое полотенце — и новый труп. Нужен Кутенку хлеб — он приглашает, воткнув нож в табуретку: „Ну, кто будет получать свою пайку?“ Все голодные, но все молчат, и никто не подходит. Кутенок повторяет. Никто. „Не хотите — дело ваше. Чтоб потом разговоров не было“, — и президент убирает ящик с пайками для своих чиновников и солдат. Однажды здоровенный мужик взял топор, вошел в барак диктатора и прогремел: „Ну, Кутенок, твоя смерть пришла!“ Кутенок был худ и невысок. Спокойно, не дрогнув ни одним мускулом, он влез в шлепанцы, взял нож и, танцуя, подплыл к верзиле.

„Посев” № 5, 1974 г.

И бунтовщик вдруг всей тушей рухнул на колени: „Прости, прости, прости меня, негодяя!” Диктатор простил. Он только велел ему выползти на четвереньках. Даже не казнил отступника, ибо власть его стала еще прочнее.

Так две тысячи человек беспрекословно подчинились одному-единственному. Так в сталинском концлагере претворился тезис Гегеля: „Господин становится господином, ибо он рискует жизнью. Раб становится рабом, ибо он боится смерти”.

Так личная смелость стала основой власти отпетого уголовника.

Кутенок был микро-Сталин. Могущество главного держалось даже не на физической отваге. Однако двести миллионов человек трепетали, как осиновые листья, при одном имени вождя. Конечно, не все так просто. Восточная хитрость состояла в том, что деспота полюбили, — ненавидели и боялись подручных. Удачно сыграли на традиционном монархизме народа, предварительно вывернув все наизнанку.

Тысячи смельчаков погибли прежде, чем воцарился страх. Животный, срамной, унизительно подлый страх. Мы сотнями тысяч мерзли и мерли в лагерях. Миллионами дохли. Огромная держава сникла перед одним человеком, перед его „органами”. И каждый еще надеялся выжить, сохранить свою драгоценную шкуру. Татарское иго бледнеет перед режимом Иосифа Джугашвили. Вспомните, как ухмылялся Желябов, когда прокурор спросил террориста, где он взял динамит: „Так я вам и сказал!”

Ежова не знал Желябов! Берии не знала Перовская! Революционерка Засулич стреляет в градоначальника, а суд присяжных оправдывает ее!

Присяжные не боялись! Страх не было. Общество было организовано по другим „принципам”.

„В хоккее играют настоящие мужчины”. Где они теперь, эти мужчины? Мы видим сегодня полсотни рыцарей на миллионы немых. Мы живем в стране трусов. Мы еще не очнулись от страха.

И все же жестокость нового времени не должна оправдывать трусость современника.

Хотя канули в лету пытки, казни, миллионные лагеря.

Вражеского дзота мы не боимся. Боимся тайны. Три буквы КГБ вселяют в нас поистине мистический ужас. Мы трепещем от мала до велика, от дворника до министра.

Разве приятно жить лицемеря? Да, лицемеря. Вся наша культура взывает к благородству и чести. К правде. Есть ли хоть одно произведение духа, которое бы гласило: „На четвереньки!”? Нет, мы только и твердим о возвышенном. Театры набиты трусами, а со всех сцен одно: „Будь честным, будь смелым!” Правда — для диспута на читательской конференции.

5 января 1972 года в Москве был осужден на 2 года тюрьмы, 5 лет концлагеря и 5 лет ссылки Владимир Константинович Буковский. Этот человек — укор всем. Ибо он есть олицетворенная Смелость. Пока есть Буковские, мы можем верить в Россию. Мы знаем: он ни в чем не виновен, ибо виновных не судят тайно. Два десятка дюжих молодчиков сторожили лестницу, ведущую на второй этаж Люблинского суда, где в одной из комнат шел процесс.

Даже академик с огромными заслугами перед государством не был допущен ни в суд, ни в коридор суда. Справедливость никто не прячет. Скрывают беззаконие.

Буковского судят в четвертый раз. Когда в январе 1967 года арестовали Галанскова, Буковский вышел на Пушкинскую площадь с плакатом-протестом. Позднее он рассказывал мне: „Публичная демонстрация была необходима, потому что с арестом Галанскова и других прокатилась волна страха. Люди забивались в угол. Надо было нарушить оцепенение”. Газета „Правда” корила Буковского, что он встречается с иностранными корреспондентами. Да разве не обидно русскому патриоту, каковым несомненно является Буковский, искать помощи у зарубежных журналистов, а не отечественных! Но что остается делать, если наши газетчики, все до единого, не поместят информацию о нарушениях прав человека в СССР!

Буковского осудили на 12 лет за „антисоветскую” пропаганду. На деле — за защиту советской законности. За попытку легально и гласно высказать мнение. За мужество.

Другой национальный герой России — Игорь Вячеславович Огурцов — был приговорен Ленинградским городским судом весной 1968 года к 15 годам лишения свободы (из них — 7 лет в тюремной камере) и 5 годам ссылки. Огурцов, как и Буковский, проявил беспримерную стойкость и мужество. Огурцову грозил расстрел. Высокопоставленный чиновник беседовал с ним в тюрьме накануне вынесения приговора: „Вы должны раскаяться, иначе вам грозит...” Игорь Вячеславович не колебался: „Нет!” В последнем слове он вновь подтвердил свои взгляды и убежденность в своей правоте. Известно, что Игорь Огурцов не только исключительно смелый и стойкий человек, но и совершенно чистый нравственно. Буковский тоже. Их нет теперь с нами: святые особенно опасны...

В деле ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа), вождем которого был Огурцов, существует две стороны: фактическая и формальная. Фактически так называемый „Союз освобождения” был не организацией заговорщиков, а своего рода клубом патриотически и христиански настроенных молодых интеллигентов. Они изучали папские энциклики, сочинения Бердяева, славянофилов, Вл. Соловьева, знакомились с опытом христианско-демократических партий Запада.

Чтением и обсуждением книг, собственно, и органичивалась вся деятельность ВСХСОН. Но была, к глубочайшему сожалению, также формальная (и фантастическая!) сторона дела: устав, программа.

Накал интеллигентских разговоров за чашкой кофе погубил честнейших ребят.

Не соглашаясь с программными установками этой группы, мы должны оценить их мужество, их высокие личные качества. Когда-то и декабристы ошибались принципиально, но это не умаляло их благородного облика в глазах потомков.

Буковский никакой конспирацией не занимался, организации не создавал, о свержении власти не беседовал. Ничего, абсолютно ничего тайного. Все мы были очевидцами его открытой борьбы за права человека. Однако с ним расправились не менее жестоко, чем с ленинградской группой.

Буковский и Огурцов призывают быть смелыми. Призывают примером собственной судьбы. Они одиноки. Буквально несколько человек им подобны.

Свобода мнений, права человека, гласность — мы имели бы все... Наши самодуры — обыкновенные люди. Они вовсе не демоны. От смелых отвыкли, потому и наглеют. Пока мы не станем смелее, пока

мы не начнем говорить вслух то, что думаем, — нас будут травить и ломать. И, право, мы будем достойны этого. Мы — холопы!

Или давайте попрячемся, чтобы себя не выявить. Да так и дотянем до пенсии!..

Привычка к сталинизму так сильна, что иным отвыкать боязно. Боязно выпрямиться, встать во весь рост. А вдруг не удержимся на двух ногах? На четырех-то — спокойнее.

Инициативная группа, Комитет прав человека, открытые письма, журналы — слава Богу, мы понемногу начинаем одолевать страх. Нас вдохновляет мужество Григоренко, Огурцова, Буковского.

Мужество настоящих мужчин.

Трус не выступает за правду.

Рождество Христово,
7 января 1972 г.

БОРЬБА С ТАК НАЗЫВАЕМЫМ РУСОФИЛЬСТВОМ, ИЛИ ПУТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО САМОУБИЙСТВА

Нас вновь пугают, что рост центробежных сил, угрожающий разрушить огромную и сложную целостность — Союз Советских Социалистических Республик, — факт дня. В мозаике событий и настроений выделяют один тревожный вопрос: может ли рост национализма на окраинах создать смуту в государстве и даже, более того, привести государство к распаду? Многие готовы ответить на этот вопрос утвердительно и с этой точки зрения готовы принять программу искоренения русского национального самосознания. Постулируется — вне всякой связи с историческим опытом и опытом СССР, — что рост окраинного зоологического национализма прямо пропорционален росту национальных сил русского народа, и, следовательно, уничтожение русского национального самосознания неизбежно приведет к уничтожению всякого национализма у прочих народов СССР.

Сия точка зрения не нова. Казенные доброхоты СССР, а на самом деле ревнителю безнационального (якобы!) лица СССР, еще в 20-х—30-х годах провоз-

„Вече” № 7, 19 февраля 1973 г.

„Вольное слово” № 17-18, 1975 г.

глашали неразрывную связь национально-окраинного „шовинизма” с „великодержавным русским шовинизмом”, объявляли „русский шовинизм” „главной опасностью” и сюда требовали направить „основной удар”, что вовсе не должно было означать „какого-либо уменьшения борьбы против шовинистов местных”. О „местных шовинистах” один из наиболее рьяных „пролетарских” доброхотов Леопольд Авербах писал:

„Эти стопроцентные патриоты уже в достаточной мере разоблачены. Они разоблачены, во-первых, как агентура империализма, как пропагандисты ухода из СССР для перевода в кабалу к чужим, но к капиталистам, во-вторых, как люди, всегда и когда угодно готовые на любые блоки с русскими черносотенцами, с русскими великодержавниками, с русскими шовинистами”.

Авербах не стеснялся исказить истину: еще ни один националист, т. е. человек, религиозным образом преданный национальной идее, не мечтал о смене хозяина (хорош был бы националист!).

Авербах не стеснялся передергивать: каким образом может быть осуществлен союз „великодержавников” с людьми, мечтавшими об отделении от СССР (хороши были бы „великодержавники”!). И кажется, что было бы плохого в содружестве народов, где каждый верен своей национальной почве? — но то, как Авербах определяет русских, поясняет специфику его подхода: „русские черносотенцы” (они же „великодержавники”, они же „шовинисты”). Л.Авербах, посвятивший жизнь уничтожению русской национальной культуры, — типичный пример деятеля, стоящего на „здоровых” позициях „вненационального”, исключительно „классового”